

Л.ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛЪ

Н Ъ Т Ъ !

РАЗСКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
»АЛКОНОСТЬ«
ПІТЕРБУРГЪ
1 9 1 8



УЗДАТЕЛСТВО "НАЧНОСТ"

Настоящее изданіе отпечатано въ количествѣ
3000 экземпляровъ. Обложка работы
худ. М. В. Добужинскаго.

Л. ЗИНОВЬЕВА - АННИБАЛЪ.

Н Ъ Т Ъ !

РАЗСКАЗЫ

ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА.

„АЛКОНОСТЪ“

ПЕТЕРБУРГЪ

1918

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ послѣдній годъ своей жизни († 17 октября 1907 г.) Лидія Димитріевна Зиновьева-Аннибалъ задумала новую книжку разсказовъ, въ число которыхъ должны были войти и три уже напечатанные порознь: „Помогите вы!“, „Электричество“ и „Кошка“, или „Отрывокъ изъ письма о неблагополучіи мірозданія“*). Для того же сборника предназначался разсказъ „Голова Медузы“, печатающійся нынѣ впервые, какъ и монологъ „За Рѣшетку“, написанный въ 1906 г. и положенный подъ спудъ вслѣдствіе крайней рискованности затронутой въ немъ политической темы.

Что же до фрагментовъ, озаглавленныхъ нами „Лондонъ“ и составляющихъ часть небольшой повѣсти, работа надъ которою (какъ и надъ драмой-мистеріей „Великій Колоколъ“ и надъ окончательною редакціей романа „Пламенники“) была прервана внезапною смертію писательницы, — мы не знаемъ, была ли бы эта повѣсть включена, какъ самостоятельное произведеніе, въ задуманный сборникъ, или же, какъ ранній дневникъ главнаго дѣйствующаго лица „Пламенниковъ“, Димитрія Опалина, нашла бы себѣ мѣсто въ обширномъ сводѣ

*) Помѣщены они были: первый—въ I книгѣ „Факеловъ“ (1906 г.), второй—въ альманахѣ „Бѣлыя Ночи“ (1907 г.), третій—въ журналѣ „Адская Почта“ (1906 г.).

оставшагося неоконченнымъ романа. Думаемъ, впрочемъ, что повесть могла бы выйти въ свѣтъ отдѣльно, — какъ потому, что происшествія, въ ней разсказанныя, не связаны прямо съ событіями романа, которымъ они лѣтъ на семь предшествуютъ, — такъ и потому, что примѣръ подобнаго выдѣленія части матеріаловъ романа въ самозамкнутый очеркъ мы видимъ въ „Головъ Медузы“, первоначальный набросокъ которой находимъ въ подготовительныхъ эскизахъ „Пламенниковъ“, причемъ изображенная встрѣча происходитъ во Флоренціи, а не въ Петербургѣ.

Подъ заглавіемъ „Нѣтъ!“ покойная писательница соединила, въ I книгу „Факеловъ“, три разныхъ произведенія, а именно: „Медвѣжата“ (разсказъ, которымъ открывается изданный въ 1907 г. отдѣльною книгою „Трагическій Звѣринецъ“ и эпиграфъ изъ котораго выставленъ нами въ началѣ этой книги), „Помогите вы!“ и тотъ „эпилогъ“ („Пасха“), коимъ заключается и настоящее собраніе. Въ равной ли мѣрѣ, однако, весь составъ послѣднюю отяѣчаетъ этому заглавію?

Въ посланіи „За Рѣшетку“ и въ „Письмѣ о неблагополучіи мірозданія“, несомнѣнно, идея заглавія, провозглашающая теоретическое несоловіе божественнаго, движущаго начала въ челоувѣческомъ духѣ съ естественнымъ міропорядкомъ и его „непоправимымъ зломъ“, выражена съ неменьшею опредѣлительностью, чѣмъ въ упомянутомъ циклѣ „Нѣтъ!“. „Голова Медузы“ изображаетъ, въ лицѣ страдающаго сплиномъ скульптора-англичанина, болѣзненно-пессимистическій уклонъ правую отрицанія къ мечтѣ о всемірномъ расплавѣ и

окаменній. „Электричество“ рисуетъ всечасную и какъ-бы молекулярную работу вселенскаго сочувствія въ души, не приëмлющей самостной отчужденности и непроницаемости души и вещей. Наконецъ, записи Опа-лина о пережитомъ въ Лондонъ, который является ему символомъ общежитія построеннаго на такой непроницаемости, чернымъ знаменіемъ космическаго ужаса и „преддверіемъ конца“,—суть признанія челоука, „родившаюся безъ кожи“, ищущаго разрѣшить загадку сердца мыслью, стремящагося преодолѣть недугъ чрезмѣрнаго, безбрежнаго, беззащитнаго состраданія—не буддійскимъ „отказомъ“, но обрѣтеніемъ путей иного, дѣйствительнаго, предбражающаго „Нѣтъ!“.

Приведенныя соображенія достаточно, какъ намъ кажется, оправдываютъ допущенное нами распростра-неніе на всю книгу заглавія, избраннаго, въ свое время, авторомъ для одной ея части. Вышеизложеннымъ исчерпана задача нашего предисловія. Давать художественный разборъ предлагаемыхъ читателю рассказовъ и очерковъ едва-ли было бы здѣсь уместно. Раскрывать ихъ идейное содержаніе соотечественникамъ, воспитавшимся на Достоевскомъ,—излишній трудъ и напрасный: свои мысли авторъ самъ до конца договариваетъ съ лирическою непосредственностью и являетъ наглядными въ изображеніяхъ душевной жизни съ пронзительною жизненною убѣдительностью. Послѣдняя, на нашъ взглядъ, такова, что даже людямъ, видящимъ въ „міровой скорби“ только психологическую аномалію, или же проблему отолеченной мысли, чтеніе подлежащихъ оиенно-выстраданныхъ страницъ можетъ представить

напечатлѣвшуюся на этомъ умонастроеніи крестную тайну вселенскаго страданія и состраданія истинною реальностью внутреннюю опыта.

Пояснительныя примѣчанія подъ текстомъ принадлежатъ редактору этого посмертнаго изданія.

1918 г.

Вячеславъ Ивановъ.

Н Ъ Т Ъ!

Большее возлюби, и ббльшаго
потребуй!

Л. Зиновьева-Аннибалъ.

ПОМОГИТЕ ВЫ!

БРЕДЪ КРАСНЫМЪ КАРАНДАШЕМЪ.

Они дали этотъ карандашъ... дали! Этотъ карандашъ толстый, липкій какъ кровь... красный, какъ кровь... Это ничего, ничего. То-есть, все равно нужно, писать нужно, — потому что нужно, чтобы вы помогли! Я же не могу помочь. Ну, не могу...

Я ли пишу эти записки? Я-ли? Я-ли? Я потерялъ себя, вотъ въ чемъ штука. Это ужасно потерять себя. Врагу не пожелаю. Да нѣтъ, я не я... это только такъ кажется. Я же убился. Говорю вамъ, я кончилъ самоубійствомъ и, конечно, не пишу записокъ.

Никто не пишетъ записокъ. Онѣ сами пишутся. Записки сошли съума и сами пишутся. Или это я сошелъ съума, и не успѣлъ убиться? Когда съума сходятъ, то всегда думаютъ, что убились и что пишутъ записки. Да, это такъ: я живъ и сумасшедшій, но записокъ не пишу. Вовсе никто не пишетъ ничего, и никто не прочитаетъ ничего никогда.



А я жилъ. Да-съ. Языкъ вамъ показываю. Жилъ-съ! Не хуже вашего, до моего самоубійства. Кусочки, кусочки, кусочки мыслей! Я все расскажу. Ахъ, да у меня зубъ болитъ... Кусочки! Изъ кусочковъ тоже и все скроено. Жилъ. И возлѣ меня жила

женщина. И я ее не зналъ. Прожила она жизнь неузнанною и умерла. Вотъ этотъ кусочекъ вѣрный...

Былъ революціонеромъ. Тоже кусочекъ. Да, да, да, да, да! Нашелъ все. Ниточки потянулись. Вотъ разворачивается назадъ клубочекъ. Понялъ, понялъ! Я не убивался и съума не сходилъ: меня казнили. И не она умерла даже первою! И не я то плакалъ у ее могилы, плакалъ оттого, что не зналъ ее, пока она тихо жила возлѣ, и просящихъ большихъ глазъ не цѣловалъ, пока съ такою глупою надеждою они къ небу вскидывались, — не цѣловалъ, пока она жила. Не я, не я, не я плакалъ на могилѣ! У меня болить зубъ...



Она шептала въ каретѣ, поднявъ глаза черезъ окно къ небу: „Будетъ, будетъ онъ, міръ гармоніи... У Тебя, Господи“... Близорукіе глаза, голубые...

Я жилъ спокойно оттого, что зналъ, что все въ порядкѣ въ этомъ лучшемъ изъ міровъ. И если не все въ порядкѣ, такъ это и есть самое мудрое во всемъ устройствѣ... У меня въ сердцѣ зубъ болить... Вотъ гдѣ.

Мудрое... Да, это не со мной вдвоемъ она ѣхала, не на мои насмѣшки гордая отвѣчала къ Богу молитвою о гармоніи. Надъ могилой моей, надъ моей, не я, она кричала: „Онъ любилъ меня и зналъ. Я же, я, я, я его не знала, значить, не любила“. Да, это такъ.

И потому я убился. Я застрѣлился оттого, что

не могъ выдержать слезъ раскаянія на ея могилѣ. Поздно. Поздно. Поздно. Поздно.

Мудрое... Да, ибо занятъ человѣкъ постоянно работою по улучшенію міропорядка и одушевляемъ постоянною надеждою, что все будетъ хорошо... Это гнусно, вы не знаете, какъ это гнусно, вотъ эта постоянная боль... Но гдѣ, гдѣ болитъ?.. гдѣ же?



Назадъ, назадъ! Къ логикѣ. Да, я безуменъ. Я въ сумасшедшемъ домѣ, я на одиннадцатой верстѣ. А все-таки такъ хорошо въ этомъ лучшемъ изъ міровъ, еще улучшенномъ... Безпокойство: вдругъ что-то... вдругъ, когда станетъ хорошо, — и наскучить до самоубійства! Ну, тогда начнемъ все портить снова, и надолго займемся этимъ веселымъ разрушеніемъ. А потомъ, потомъ... Логика-то, логика моя! Великолѣпно!.. Не болитъ... Потомъ начнемъ, начнемъ строить вновь... Или, впрочемъ, и это вздоръ. Хорошо вовсе никогда не будетъ. Спокойно можно себѣ строить вѣчно...

Усталъ, усталъ, не хочу зуба. Это не въ сердцѣ вовсе. Это токъ жизни боленъ. Это невралгія души.



Я былъ революціонеромъ. Бросалъ бомбы. Убивалъ виновныхъ и невинныхъ. Надъ первыми я былъ судьей, а вторые такъ себѣ попались... Это было весело и жутко... до того, что... до тошноты, до приторной тошноты! Какъ кровь. Какъ кровь...

Она, это она не могла меня понять. Не умѣла убивать. Въ каретѣ молилась о гармоніи! Не хочу, не хочу, не хочу ея глаза! Я же человѣкъ, — мертвый-ли, живой-ли, сумасшедшій или здравый, но воля есть, есть, есть, и этой памяти я не хочу, не хочу, не хочу!..



Я просто маленькій, я маленькій, маленькій. Я прячусь въ травѣ, я подъ хвоей, подъ хвоей, слѣпой кротикъ! Закачалось, закачалось! Стонъ сталъ. Это вода, земля. Это весна. Я не могу терпѣть, чтобы весна... Птенчики попадали въ траву изъ гнѣздъ. У птенчика, знаете, только и есть что сердце: синій мѣшокъ, и въ немъ сердце. Оно синее, огромное, и бьется, бьется, бьется. И клювъ есть. Онъ желтый и огромный, открывается для пищи, и пищитъ, пищитъ. Зоветъ кротовъ и крысъ и дикихъ кошекъ. Крысъ и дикихъ кошекъ, вмѣсто матери и пищи!



Я не виноватъ, что не понялъ ея. Она же ничего не умѣла дѣлать. Неловкость, неловкость, и неловкость! Работа валилась изъ рукъ, дѣтей выпустила, меня не уберегла. Все ходила, какъ-то рыхло покачиваясь, все ждала съ неба гармоніи. Съ неба. Съ неба! Вотъ видите что такое небо. Намъ земля дана. Здѣсь все отлично. Устроимся, господа! Устроимся!

Ужасно глупо, господа, ужасно глупо: я пьянъ.

Я просто пьянъ, и пишу. Не я пишу, — вино пишеть. Не вѣрьте. А хочу я того, чего на свѣтѣ нѣтъ. Вотъ вамъ. Вотъ вамъ чего захотѣло винище. Оттого и люблю его, винище. Страсть люблю, когда этакъ захочется... Вотъ этакъ невозможнаго захочется, и ничего больше не чувствую... Долой ее — возможную канитель! Вся ваша жизнь, идіоты трезвые, — возможная канитель.

Подавайте мнѣ назадъ мою жену! Мою жену, мою жену назадъ, я вамъ кричу! Я, наконецъ, требую. Потому что я не успѣлъ! Ну, просто не успѣлъ, наконецъ. Не поторопился довольно. Не зналъ, что нужно торопиться. Да и вовсе не долженъ былъ знать. Оно просто обидно торопиться. Я и къ поезду никогда изъ гордости не торопился. Ну, и опаздывалъ...



Это все равно. Это не то. Спутался. А вотъ что плохо — что я вспомнилъ, какъ это скверно все случилось: кусочекъ-то съ революціонеромъ невѣрный былъ! Меня послали бунтъ усмирять, потому что они тамъ обезумѣли; они жгли и убивали. Но люди должны знать законы и права, права чужой личности. Присягалъ. Я же самъ присягалъ правамъ, т. е. нѣтъ, не то: присягалъ мечу, чтобы мечомъ мечъ поднявшаго... ну, и т. д. Ибо человѣкъ, конечно, „животное политическое“. Это Аристотель самъ сказалъ. Это, наконецъ, даже единственное спасеніе отъ варварства анархіи. Я пишу и логика

возвращается, — правда, понемножку съ нею и эта странная боль... Гдѣ зубъ? Это зубъ оттого хуже, что онъ толстый, липкій, красный, какъ кровь...

Такъ, такъ. Это-то я, пожалуй, и не лгу... да... конечно... Да, конечно. Крысы, кошки и страсть. Это все то же самое. Одно и то же самое. Это сама мать-земля. Ей же покоряйся смиренно. Я любилъ жену. Жена у меня была дѣвушкой. Т. е. немножко раньше. Я кланялся ей въ землю. Въдѣ дѣвушка — мадонна! И красавица! Красоту нельзя вождѣлѣть. Поклоняйся!



Но я же хотѣлъ припомнить, отчего я застрѣлился. Я усмирялъ, т. е. я не могъ хорошо усмирить. Все-таки. Тамъ всѣ подписали, всѣ присягали. Я тоже. Полевые суды. Да я и самъ зналъ, что нужно, потому что всѣ правы, вы понимаете, люди, что я говорю, кричу, ѡплю: всѣ правы, всѣ правы, всѣ правы равно, кто поднялъ мечъ! Я просто не могу. Я одинъ не правъ. Или то не я, опять-таки не я... Вернулся и застрѣлился... Не я! Я же потерялся! У меня, знаете, милые мои, душа бѣлая; т. е. не совсѣмъ такъ, а руки бѣлая: бѣлоручка я... Я брезга, брезгливый. Знаете, я ужасно брезгливый. Оттого и не коснулся. Это она все хотѣла... Вотъ за это я ее и ненавиждѣлъ. Да. Я начинаю надолго слѣдовать логикѣ.

Вотъ стучаетъ кровь по зубу. Въ ногахъ, спинѣ, груди, всюду... жизнь — зубъ! Жизнь — зубъ! Она,

да, она... Это она не умѣла. Не умѣла даже угладѣть за своимъ ребенкомъ. Или... это былъ ребенокъ ея дочери?.. Взясась тоже! За все бралась своими неземными руками, неловкими, неловкими. Все хотѣлось помогать и дѣлать. Все хотѣлось... И лѣзли руки!..



Да, я хотѣлъ сказать, что она не умѣла убивать. Параличи, параличи! Что такое параличи? Это у меня были параличи мозга, или у нея? Нѣтъ, у меня „психалгія“. Они сказали.

Она подожгла кисею на люлькѣ, потому что не видѣла ясно ночью близорукими глазами. Да, будетъ онъ, міръ гармоніи! На небесахъ! Это въ каретѣ... У нея большіе бѣлки, и потому глаза кажутся молящимися.

Глаза сгнили. Глаза сгнили. У животныхъ глаза. Знаете что: не нужно ѣсть животныхъ съ глазами. Вотъ безпорядокъ-то! Чистый бредъ. Это оттого, что стучить тупо по жиламъ боль... Какъ головой объ стѣну. Моя стѣна обита мягкимъ. Устроимъ, устроимъ жизнь. Чтобы все лучше, все лучше, все лучше! И, слава Богу, никогда до конца...



Ночь она мнѣ не простить. Потому что либо страсть, либо красота отъ чорта. Ага... га... га... га... Поймалъ, поймалъ! Это я за хвостъ чорта поймалъ. Это онъ канитель заплелъ, канитель заплелъ. И

закупорилъ всѣ выходы. Ну, а мадонна?.. Осквернилъ! Хозяиномъ стать надъ мадонной, похвалиться поскудствомъ. Осквернить! Осквернить! Лицемѣры! Лгуны! Люди безъ зуба въ душѣ!.. Вотъ ночь страсти! Она мнѣ стала женой.

Ага, глупенькая, глупенькая! Она же умерла дурочкой. Промаялась жизнь... И презлой. Параличи. Кусалась, звѣремъ выла... Вотъ тебѣ и гармонія. Вотъ тебѣ и гармонія!.. Да, на небесахъ!.. Ужасно, знаете, я брезгливъ! Даже никогда изъ-за этого я не могу совершить. Я въ сторонкѣ. Я въ сторонкѣ. Прошу васъ, не прикасайтесь-же!



Ну, вотъ я еще потружусь. Я выйду отсюда. Завтра. Завтра. Мы все устроимъ. Конечно, нужно крови пустить. Нужно еще маленько крови пустить. Эхъ, моречко, океанчикъ этакъ, крови! Потому: силенки по жилочкамъ...



Кисею обожженную она въ складочкахъ запрятала, въ складочкахъ полого отъ дочери запрятала, чтобы та не узнала, какъ она младенца едва не сожгла ночью. Сама ходила весь день своей рыхлой походкой, тихая, да виноватая. А мы все знали, и молчали. Знали, и злобно молчали. Смирно. Смирно...

Одного зайченка мнѣ папочка съ охоты подарилъ живымъ. Его блошки высосали. Я посыпалъ, посыпалъ персидскимъ порошкомъ, не помогло.



Да не жена она была моя вовсе, а мама, мамочка, моя мамочка. А я маленький, молоденький еще тоненький. Она забыла ключи. Ключи. Всю ночь укладывала сундуки. Всю ночь одна, съ разбитымъ сердцемъ... А я спалъ. Мнѣ же просто спать хотѣлось. Лѣнь... А утромъ выѣхали, въ чужомъ городѣ брошенные выѣхали. Ключей хватилась. Ахъ, безъ памяти, безъ толка! Заплакала. Въ коляскѣ заплакала старая мамочка. Ключи...

Старые, большіе не могутъ плакать. Не хочу. Не хочу, не хочу... Бумъ, бумъ, бумъ! — стѣна обита мягкимъ...



А, можетъ, зайченокъ отъ порошка издохъ? Ну, что же, какъ умѣлъ, такъ дѣлалъ. А можетъ — и я убилъ. Журавля-то ужъ убилъ. Три дня забывалъ въ поддонникъ воды налить моему журавлю въ оранжереѣ. Въ глубокой кадкѣ потопился. Нѣтъ, — не важно же. Не то. Я же мамочку обидѣть успѣлъ. Не понялъ моей мамочки одинокой. Обидѣть успѣлъ. Только любить не поспѣлъ. У могилы вспомнилъ. У могилы понялъ. У могилы вспомнилъ.

Ну, что же! У человѣка мѣста мало на любовь... Зубъ, зубъ у меня болитъ! Братья, братья, зубъ жизни у меня болитъ! Мѣста мало въ груди на любовь — только на вождедѣнье...

И вожделью чуда. Ей, Господи, вожделью чуда!
Аминь!

✱

Вотъ видите что: этимъ краснымъ, липкимъ ничего нельзя. Они дали такой тупой, чтобы я не убился. Понялъ. Останусь... Все останется. Эй, вы, помогите вы! Помогите, помогите, помогите вы!

ЗА РѢШЕТКУ.

Который-то тамъ день.

Тюрьма.

Я убилъ. Меня убьютъ. Да, конечно, конечно. Но это ничего. Совершенно ничего, потому что не въ этомъ дѣло, а въ свободѣ. Я свободенъ, потому что, когда пересталъ быть тихимъ, очень тихимъ, и благоволящимъ, и терпѣливымъ, и въ чудо преображенія вѣрующимъ,—а былъ я всѣмъ этимъ и еще многимъ инымъ, съ Машей, — и когда возненавидѣлъ вдругъ, вдругъ понялъ, что у ненависти свои крылья, сильнѣе даже крыльевъ любви, и свой полетъ, ѣдкій, жгучій, мѣтко бьющій полетъ,—то я убилъ. Убилъ, и вотъ сталъ свободнымъ и новымъ. Это одно и то же для меня: убивъ, я умеръ и воскресъ новымъ, и вотъ такимъ... свободнымъ. Сейчасъ все разъясню.

Свободенъ я потому, что, во-первыхъ, я ничего не чувствую, даже голода. И когда били — не чувствовалъ, и даже пріятно было, что голову насквозь сверломъ сверлило, и безъ мыслей... И смерти не боюсь, потому что я-же самъ другого убилъ. Этого никто не пойметъ, кромѣ меня, какое тутъ упоеніе — умереть убившему. Такое тихое, сосредоточенное, даже мрачное, но полное удовлетвореніе. Я совершилъ... Это вамъ, вамъ несовершившимъ, вамъ, лицемеры-убійцы съ гладкою совѣстью, вамъ, люди за

рѣшеткой, — смерть всегда рано... Это все во-первыхъ, о свободѣ. А во-вторыхъ... Я, во-вторыхъ, уже не могу. Я, видите, два мѣсяца молчалъ. Убивъ, я молчалъ. Здѣсь въ тюрьмѣ одинъ молчалъ. Сегодня дали перо и бумаги. Записалъ все это, и довольно. Кажется, все это было умно, но дальше не выходитъ. А вы думаете, вы тамъ, за рѣшеткой, что у ненависти нѣтъ крыльевъ? Всесильны крылья ненависти и переносятъ черезъ вашу рѣшетку (потому что это вы за рѣшеткой, кричу вамъ, вы, вы, вы а не я!) — въ великій хаосъ свободы. Вотъ вамъ еще ума отъ умалишеннаго. Вѣдь убійцы безумны. Вѣдь новымъ стать, значить стараго ума лишиться. Негоденъ свободному вашъ умъ, люди за рѣшеткой!

Душно мнѣ, знаете-ли. Воздуху мало. Умирать мнѣ пора. Жить стало довольно... Здравствуй, Смерть! Здравствуй, Смерть, послѣдняя свобода ненависти! Здравствуй, палачъ! Станный, странный освободитель!.. Вы себѣ, навѣрное, представляете, что я плохо сплю? Отлично сплю, съ той именно ночи, когда я (именно ночью, потому что они все не могли рѣшить моей участи) узналъ о смертномъ приговорѣ. Хотя здѣсь же, въ скобкахъ, упомяну, что и по сейчасъ совершенно не увѣренъ, кому собственно вышелъ смертный приговоръ: вамъ всѣмъ или мнѣ здѣсь одному?

Ну, вотъ еще только одно сообщеніе, — слушайте! Потому что эти записки вы прочтете. Вамъ ихъ передадутъ туда, за рѣшетку. И надъ вами кто-нибудь да смилуется!.. Слушайте. Червь въ вашей

любви, тамъ, за рѣшеткой, червь. Сифились въ вашей любви, вы тамъ! Это жалость—червь и сифились любви. Довольно... Если-бы ея не было, то любовь ваша слилась-бы съ моею ненавистью, и рѣшетка ваша открылась-бы ко мнѣ...

Еще который-то тамъ день.

Тюрьма.

Отчего два мѣсяца молчалъ? Можетъ быть, и дольше. Можетъ быть, и два дня. Все равно. Кто убилъ, и потомъ очень долго молчалъ, — тому позволено запѣть. Пою.

Возненавидѣлъ — и убилъ. Слѣпое великолѣпіе ненависти! Крылами черными, ночнымъ полетомъ, ты облетаешь міръ до дряблага, до тусклаго разсвѣта, до дня мелко-отчетливаго, до раздробленнаго, безсильнаго, дальнозоркаго, разборчиваго дня. О, Ненависть, ты кровянымъ чутьемъ бьешь право въ ночи! Жгучая, сладкая, вихревая, нераздѣльная, мѣткая, бьющая, свободная,—о, свободная Ненависть Тебя, святая Ненависть, тебя, правая Ненависть, славословлю, тебя пою!

Я его убилъ за то, что онъ былъ жестокосердеченъ и узкодушенъ, и отъ него зависѣли судьбы людей. Онъ не зналъ милости и тѣшилъ самовластіемъ. Его легкія были сжаты мелкимъ сладострастіемъ жестокости. Его глазки мерцали тускло. Мягкія, широкія ноздри принюхивались тревожно, и багровѣли, наливаясь злобными подозрѣніями, жили.

Вы понимаете? Вы понимаете? Онъ, конечно, не обидѣлъ моихъ близкихъ, конечно, не тронулъ меня, потому что тогда я могъ-бы простить. Тогда, говорите вы, за рѣшеткой, — ну, и я тоже говорю, — тогда я долженъ былъ-бы ему простить, ждать его просвѣтлѣнія, просвѣтляться самъ тѣмъ своимъ прощениемъ... Пусть. Но онъ не меня обидѣлъ, не насъ, а ихъ, ихъ, ихъ тамъ. Какъ ихъ спасти? И ему какъ запретить? Какъ запретить? Запретить какъ? Ты говорила, Маша: — великая Божья любовь, какъ колоколъ на башнѣ, зоветъ сердца. И просвѣтятся всѣ. Тогда и строить будетъ нечего (всякое же строительство на крови строится; это мы съ тобой и тамъ еще, за рѣшеткой, давно поняли и постановили), строить будетъ уже нечего: все уже на мѣстѣ, и все Божіе. Одною волею колокола все Божіе... Ты тогда смѣялась, ласкаясь ко мнѣ. Но любовь безплотна, не вмѣщается въ костяную, грудную тюрьму человѣка. И во мнѣ уже она зрѣла, моя непрошенная ненависть. Местью зрѣла. И вотъ накалилась местью и стала жадная, ненасытимая, огромная какъ гора, какъ гора огромная въ маленькой человѣческой груди, или какъ вулканъ, или какъ рысь. Какъ рысь упала съ вѣтви на жертву намѣченную...

Я, видишь-ли, это понялъ, Маша, что любовь твоя слѣпая не видитъ, кого любить, и что она покорна, и этого невидимаго владыкой зоветъ. На день жизни слѣпа твоя любовь, но въ ночь глядитъ упрямыми глазами. Въ ночь чудесныхъ преобра-

женій. Земную землю она подмѣнить хочетъ. Измѣна, измѣна — твоя великая любовь. И не сильна надъ жизнью. Землю всю поднять вы вожделѣете и метнуть ее въ небеса. Но соразмѣрнѣе человѣческимъ крыльямъ ярая ненависть, и смертью... легче рѣшить споръ, нежели просвѣтить новою жизнью тьму злого.

Сегодня-же, вечеромъ.

Тюрьма.

Я видите-ли, всегда все хотѣлъ устроить до конца. Таковое уже было во мнѣ упрямство. Началь, конечно, съ любви, потому что такъ уже человѣкъ устроенъ, что все-таки любить ему хочется, и слаще, нежели ненавидѣть. Ненависть — это потомъ. Это уже послѣдняя отрада, вино глухое... Да. Сидѣла разъ кошка бѣленькая съ рыжими подпалами на дворѣ, на заднихъ лапкахъ, какъ заяцъ, и кричала проходящимъ не своимъ голосомъ. У нея была раздавлена одна передняя лапка, — и, вѣрно, жаръ: хотѣла пить... А зимою замерзла для кошекъ вся вода на землѣ... Кричала хрипло, не своимъ голосомъ. Былъ я маленькимъ, и мнѣ кошку домой взять запретили. У насъ была своя, конечно... Съ той кошки все и началось. Раскрылась съ той кошки у меня язва въ сердцѣ, и затянуло сердце, затянуло на всю жизнь, не своимъ голосомъ затянуло: пить, пить, пить просило сердце съ раздавленной лапой... Вотъ вздоръ! Испортилась радость любви. Сифились, сифились жалости заразилъ любовь и... до четвер-

таго поколѣнія! Все-же боролся. Сначала еще думалъ строить, устраивать. Какъ же! Это въ жизнь, въ плоть стала воплощаться великая, безплотная любовь.

И паутиной воплощалась!.. Паутиной опутывается строительная любовь свободу. Но не видно мнѣ было паутины той, сѣрой изъ-за сѣраго свѣта моего дня. Но это бы еще ничего. Бѣда вотъ гдѣ, что понялъ я такъ: ну, перестроимъ мы все, животныхъ много положимъ, на новый, ладный ладъ, проснемся, и увидимъ — любви въ новомъ-то ладномъ ладѣ и вовсе не осталось! Окрѣпъ и ожирѣлъ вмѣсто нея паукъ всеобщаго благополучія, и самую живую и самую трепетную, гнѣвную и вопрошающую, и творящую гнѣвомъ, и мукою, и возстаніемъ душу — высосалъ тотъ паукъ благополучія, да такъ вяло, такъ непримѣтно, такъ безъ движенія въ общей глухости сѣро затканнаго дня! Вѣдь паукъ муху сначала всю плотно, глухо, тѣсно обмотаетъ сѣдою паутиной, липкою: она и не шевелится, какъ онъ присасывается, будто не слышитъ мушье тѣло, какъ онъ ей сокъ высасываетъ... Такъ и вы, строители жизней! И не для васъ я убилъ. Не для васъ, вы, убійцы за рѣшеткой, не для васъ...

Я еще до того, какъ его убилъ, самъ себя убить хотѣлъ, потому что руки у меня для жизни опустились, а на себя поднялись. Но спасла Маша. Ты, Маша, стала шептать мнѣ въ душу: „Слышишь? Слышишь?“ Звонъ твоего колокола слышу-ли? Ну да, слышалъ. Такъ что-же? Мало слышать. Нужно

еще повѣрить. Вотъ такъ, безумно повѣрить Невозможному. И отъ всего возможнаго отрѣшиться. Чтобы само приложилось возможное. Я-же не умѣлъ. Возлѣ тебя пока жилъ, такъ будто бы колоколъ Невозможнаго и слышалъ. А потомъ пересталъ. Нарочно даже ушелъ отъ тебя, чтобы перестать и на волѣ возненавидѣть. Какъ было не возненавидѣть мнѣ его, если я съ дѣтства пожалѣлъ хромую кошку? Вѣдь онъ не кошка. Онъ человѣкъ. Это онъ кошку... Онъ, онъ кошкѣ лапу отдалъ и воду заморозилъ на землѣ, и отъ него кошки на заднихъ лапахъ, какъ зайцы на снѣгу, и воютъ не своимъ голосомъ. Все отъ него. Все отъ него пошло изначала худо на землѣ. Безумье! Но я же не кичусь умомъ. Я только свободой кичусь. И вотъ, когда я узналъ, что не только для кошекъ онъ морозъ на землю послалъ, но и людей истязалъ, и дѣтей, и стариковъ, и души, и души, — я убилъ! Это кровь моя, Маша, вся кровь моя, кровь моя гудѣла и свистѣла: убей, убей, и мсти, и мсти...

Послушайте, это странно, что я совершенно не знаю, куда онъ дѣвался послѣ того, какъ я его убилъ. Куда-же онъ вправду дѣвался? Убилъ же я его? вѣдь убилъ? Такъ подошелъ смѣло, близко совсѣмъ; у него стало такое глупое, красное, ожидающее лицо, и никто не успѣлъ опомниться, приложилъ дуло къ его лбу... выстрѣлилъ. Потомъ шумъ, били... Вихрь потомъ... и до сихъ поръ вихрь! Я въ вихрѣ кружусь, какъ безумный, и себя не ощущаю. Совсѣмъ новый! И еще не нашелъ себя

гдѣ-то... И его не жалко, не стыдно и ничего не страшно...

Онъ истлѣлъ... Онъ и не былъ...

Послушайте, неужели вы не поняли, что я убилъ его совсѣмъ не за нихъ, а для себя?.. Для своей *новой* свободы, для восторга своей ненависти!.. Или и это не то?

За кошку я убилъ его, за то, что воду заморозилъ. Отсюда вся ненависть... И только ненавистью закалятся отъ жалости сердца.

Еще одинъ денекъ. Ужъ денекъ!

Тюрьма.

Кто сказалъ: Каинъ? Кто-то сказалъ. Прокуроръ? Или ты, когда плакала на меня за рѣшеткой? Ты, за своей рѣшеткой? И къ чему было плакать, Маша? Ты такъ и надъ моимъ трупомъ будешь плакать? Любовь, воскреси! Гдѣ твоя сила? Или только волосы рвать — твоя сила, и молиться Невозможному?

Конечно, изъ васъ только, прокуроровъ безъ души, могъ кто-то сказать это слово! Каинъ? Ну, хорошо, — принимаю. Пускай для васъ Каинъ. Знаете ли кто Каинъ? Каинъ — это мститель. Великій, святой мститель Каинъ за то, что курится съ каждымъ восходомъ и съ каждымъ закатомъ изъ каждой покорной долины благодарственная жертва небесамъ, но любить сердце человѣческое не сильно, и замерла вода на землѣ, и плачутъ надъ могилами, и одно живое жретъ жизни ради — другое живое, и воемъ стонетъ вся земля!

И вотъ, Каинъ воскресъ, чтобы шевельнуть отчаяніе.

Не слѣпъ я, какъ вы думаете, и знаю, что изъ смерти — смерть, изъ мести мечь... И что Каинъ — отецъ убійства. Но что разбудить васъ, — вы, сонные, умирающіе въ глухой паутинѣ? Что, кромѣ зикающаго бича отчаянья? Не любовью васъ разбужу, но ненавистью. И, что исправить не сильны, — то толкнете къ разрушенію.

Мститъ, мститъ еще всему міру Каинъ. Мститъ за то, что міръ не пріятель сердцу человѣческому, не миль сердцу такой міръ. Зато ему мститъ убійствомъ великій, благой Каинъ...

Но кончится мечь, и начнется свобода.

Еще другой день.

Тюрьма.

Сегодня я отказался отъ ѣды. Больше не могу ѣсть. Похолодѣло у меня все внутри, милая Маша, вся кровь похолодѣла. Что-то я такое совершилъ, отчего я сталъ новымъ, совсѣмъ чужимъ... Какой здѣсь пріятный сторожъ: онъ не разговариваетъ со мною, когда входитъ, но улыбается. Я ему поцѣловаль руку, потому что боялся, что онъ не захочетъ, чтобы я поцѣловаль его въ губы...

Ночь. Свѣтитъ мѣсяць гдѣ-то высоко.

Все тюрьма.

Съ той кошечки, понялъ я, вышла на свѣтъ Ненависть; и кошечка та началась, когда начался нашъ міръ...

... Очень, видите ли, сердце у человѣка злое, и оттого все на свѣтѣ худо. Худо все — какъ разъ по сердцу человѣческому. И ужъ худо ли стало на землѣ отъ сердца, или сердце стало худое отъ земли, только я думаю, что это истинно, что „всталъ человѣкъ и зарычалъ: Война!“^{*)}).

Еще другой день.

Тюрьма.

Усталъ какъ-то особенно сегодня. Какъ-то тихо особенно сегодня. Да я и не спалъ сегодня. И не ѣлъ, конечно. Или очень мало, да и то оттого, что сторожъ заговорилъ сегодня. Угощалъ. Угощалъ, какъ хозяинъ гостя. Онъ похожъ на тебя, какъ твой братъ. Можетъ быть, это ты, и я безуменъ?. Пишу ощупью, простите, что неясно. Скоро заря. Свѣтаетъ бѣло. Отвратительно. По всему этому я полагаю, что — сегодня. День они вѣдь не сказали. Да и если бы сказали, я бы не зналъ. Въ этомъ также моя свобода, чтобы не считать свои дни. Вѣчность въ томъ, чтобы не считать... Но я хотѣлъ вѣдь написать вамъ завѣщаніе, передъ казнью, вамъ туда, за рѣшетку вашу. Передадутъ, передадутъ. Люди и къ вамъ милостивы.

Вотъ спѣшу. Пишу. Свѣтаетъ слишкомъ быстро. Придутъ. Всегда они казнить приходятъ на разсвѣтѣ. Надо поспѣть просто, хоть какъ-нибудь.

Я завѣщаю вамъ: проснитесь. Ни себя не жа-

^{*)} „L'uomo levandosi ruggi: Guerra!“—Кардуччи.

лѣйте, ни другихъ. Потому что мы оттого другого жалѣемъ, что счастія вождедѣемъ, но не ищемъ упоенія. Бѣгите, бѣгите, бѣгите! Смѣшайте всѣ грани: онѣ зыбки, и строй порядка шатокъ для смѣлаго. Бѣгите, бѣгите, вѣчные кочевники! Благополучіе ищетъ остановки, оно болотное строительство любви. И не считайте прибрѣтенныхъ благъ. Считать станете, и блага разсыпятся въ песокъ, что засасываетъ живые потоки. И цѣлей не ставьте. Земля ваша, и духъ вашъ. Нѣтъ вамъ сокровища внѣ васъ, и нѣтъ цѣли внѣ васъ. Все, что не Самъ — ненавидьте, и тогда станетъ творческою ваша ненависть. И если міръ вамъ станетъ ненавистенъ, разрушайте подлый міръ, вы щедрые, не жалѣя прошлыхъ жертвъ и накопленныхъ сокровищъ.

Встанетъ-ли поверженный? Встанетъ — если жизни достоинъ.

Подождите... подождите. Я очень заторопился. Вѣдь сегодня ихъ заря. Какъ поспѣть? Еще много нужно сказать. Слушайте, я одно только скажу: я убилъ его, чтобы смѣшать грани и никогда больше не думать ни о земномъ покорствѣ, ни о строѣ, ни о небесномъ покорствѣ Невозможному, но чтобы излить свою ненависть — вплоть до царства безначалія на своей землѣ... Или это все неясно?

Спѣшу. Смерть и жизнь — одно мгновеніе. И важно-ли продлить его еще немножко, еще немножко?.. Скука, скука — вотъ паукъ послѣдній... Идутъ. Смерть. Палачъ... Господи! Искупаю...

Еще день.

Не желтый-ли домъ?

Не пришли. Давно не пришли. А я сталъ тѣмъ долгимъ временемъ размышлять. Да убилъ-ли я? Да въ тюрьмѣ-ли я? О, милостивый, милостивый палачъ, потому что Каинъ я, Каинъ! Это вотъ уже вѣрно и непоправимо. Потому что Каинъ закрѣпилъ убійствомъ Бунтъ. И отчаяніе—рабамъ...

Но кто-же сказалъ?..

Я все размыслить поспѣлъ, потому что у меня день двойной: я же не сплю. Съ той ночи, какъ они за мной приходили на бѣлой зарѣ,—не сплю. Вотъ и понялъ. Вѣдь это кошка съ придавленной лапой (она отчаялась въ человѣкѣ!) сказала имъ, что я — Каинъ. И они казнили...

И еще понялъ—самое важное. „Во вторыхъ“ свободы понялъ. Было мнѣ до убійства два пути. Сталъ мнѣ послѣ убійства одинъ путь.

Это и есть свобода,—когда одинъ путь.

К О Ш К А.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ПИСЬМА О НЕБЛАГОПОЛУЧИИ МІРОЗДАНІЯ.

...Убѣжала... въ то время, какъ ты ѣздилъ честно исполнять свой долгъ, рискуя даже свободой, ты, который мнѣ далъ свободу и уваженіе лучшихъ людей, великодушно женившись на презираемой всѣми твоими (нашими теперь, благодаря тебѣ) товарищами—дочери народнаго врага.

И нечѣмъ мнѣ передъ тобой оправдаться. Ты, вообще, лучше меня. Это и научило меня такъ скоро привыкнуть къ тебѣ, сознавать себя счастливой, гордиться!

Милый, не считай меня неблагодарной. Да, я вернусь. Я, навѣрное, вернусь въ нашу честную, рабочую жизнь. Даже скоро. Вотъ еще немножко понять... разобраться... Всѣмъ тебѣ обязана и—правда!—благодарна, и—правда!—мнѣ стыдно, что тебѣ больно. И я люблю. И... развѣ я могла оставаться въ домѣ родителей, послѣ того какъ вдругъ *поняла*? Ты, не имѣя самъ вины передъ людьми тонкимъ сердцемъ съумѣлъ понять тотъ стыдъ, который мучилъ меня передъ всякимъ, кто голодаетъ, и всякимъ, кто трудится; и передъ всякимъ такимъ мнѣ хотѣлось тогда упасть на колѣни, плакать, и въ несносномъ стыдѣ молить его о прощеньи... Даже мама моя бѣдная, сама съ такимъ разбитымъ сердцемъ, все же не понимала, что я

всегда должна все до конца. И душила меня, любя. Ты спась.

Ты пишешь, что это я мщу за то, что ты не согласился на фиктивный бракъ. Нѣтъ. Нѣтъ. Я уѣхала... ну, изъ-за кошки. Вѣрь, не вѣрь!

А относительно моего желанія, такъ ты же тогда еще говорилъ честно, что влѣбленъ въ меня. Я поняла давно, что тебѣ слишкомъ было бы трудно... Да и неважно это: моя личность, мое цѣломудріе, мое счастье... Я же все хотѣла для дѣла. И какъ ты былъ красивъ въ великодушіи, когда радостно согласился отдать почти всѣ мои деньги на дѣло. Ты безкорыстенъ, уменъ, твердый боецъ, и добръ вдобавокъ! Я же... Ахъ, у меня мысли и чувства и безпорядокъ... Но я приведу въ порядокъ и вернусь. Только вотъ что: я вотъ чего буду совсѣмъ крогко просить,—потому что чего же я посмѣю уже послѣ своего поступка требовать?—ты позволь мнѣ жить, какъ я не могу иначе. Ты, милый, столько смѣялся надъ моимъ „аскетизмомъ“, ты говорилъ правильно: „не самосистязаніемъ строится человѣческое благополучіе“. Ты настоящий, ты дѣятель! Только вотъ что я тебѣ расскажу: здѣсь на пароходѣ я сплю на голломъ полу, и мнѣ *такъ хорошо!* Это, какъ и прежде, что-то какъ бы мести во мнѣ на меня же просить и .. очищенія.

Но и это неважно. А то важно, что шла за тобою на подвигъ, а когда часъ твоего подвига пріишель—покинула тебя. Это не потому, чтобы рѣшимости въ сердцѣ не хватило, а потому, что вѣра въ

человѣческое строительство не зажгла каждой единой моей кровиночки до конца...

Все же, помнишь рубецъ на моей шеѣ отъ блатниной бритвы? Значить: больно же мнѣ было тогда дѣвушкой еще, вдругъ *пнуть*, и такъ вдругъ глубоко застыдиться. Ну, а каково же теперь, когда сама себя перестала понимать и за все себя казнить должна?

Сама себя перестала понимать, вотъ что ужасно, и все отъ нея, этой кошки. Слушай. Вотъ мое открытіе, что есть зло непоправимое. Потому что съ людьми вѣдь какъ-нибудь можно же, въ концѣ концовъ, устроить. Было бы только побольше такихъ работниковъ вѣрныхъ и не оглядывающихся, какъ ты. А теперь выслушай про непоправимое. У насъ вѣдь много завелось мышей, и я, въ твое отсутствіе, достала кошку. Я прежде кошекъ не любила, т. е. не интересовалась. А къ этой кошкѣ очень привыкла и полюбила.

Недавно она окотилась. Пять котятковъ. Четырехъ я на третій день захлороформировала. Это очень легкая смерть. Кошка какъ-то глухо скучала. Прибѣжить, уставится на меня такими янтарными глазами и мяукаетъ жалко и зазывно какъ-то. Не умѣю лучше сказать. Я ей положу котенка пятого къ соскамъ, она и успокоится. Вдругъ услышитъ—за кухонной дверью завопилъ котъ, и прыгнула къ нему. Значить: еще въ скоромъ времени будутъ котята, и потомъ еще, и такъ, если не хлороформировать, то пятнадцать въ годъ! А вчера мышь поймала,

и я долго не могла разобрать, кто питить у нея въ зубахъ—котенокъ или мышь. Кошка вѣдь въ зубахъ и котенка своего слѣпого таскала. И мнѣ стало страшно. Одного слѣпо, глухо любить, какъ въ глухомъ снѣ, другого мучаетъ и пожираетъ, также въ глухомъ снѣ. И толкаетъ желаніе во снѣ, какъ толчки родовъ, какъ судороги смерти...

Я такъ подумала: вся природа въ глухомъ снѣ. И стало страшно. Все глухо любить себя, и глухо пожираетъ не себя. Глухо вспыхиваютъ жизни, глухо потухаютъ. И что пришло—пройдетъ. И что любилось глухо—забудется мертво. Мнѣ такъ ясно почудилось: міръ весь и человѣкъ въ немъ, какъ заколдованный, но все что живо—согласно съ чарами глухого сна.

Только вотъ есть въ человѣкѣ еще что-то несогласное. И это тѣмъ хуже, потому что вѣдь большею-то своею частью человѣкъ принадлежитъ этому сну, природѣ заколдованной. И все, что въ немъ живучее, земное, хлѣбное, тѣлесное, прекрасно-тѣлесное и желающее,—все отъ нея, отъ природы и ея сна. И наши усилія къ тому только направлены, чтобы рамки выстроить, такія рамочки, какъ, напримѣръ, восковые соты, чтобы никто въ своей сотинкѣ другому въ его сотинкѣ не вредилъ, и тогда будетъ общественное благополучіе, и каждому въ своей сотинкѣ свобода личности.

Но такъ какъ, хотя и самая маленькая крупиночка, а все-таки есть, что не отъ міра сего, въ человѣкѣ,—то, когда такъ всѣ притихнуть въ своихъ благополучныхъ ячейкахъ, то, думаю я, и услышать,

какъ нестерпимо въ тишинѣ той громко мяукнетъ, жалко и зазывно, кошка и глянетъ на того благополучнаго человѣка покорными изъ сна глазами... Глянетъ на человѣка покорное изъ его сна—его непоправимое одиночество... И человѣку отъ той непокорной крупиночки не усидѣть тогда въ своемъ слѣпомъ благополучіи.

И что тогда сдѣлать ему? Какъ же человѣку расколдовать кошку, чтобы она *увидѣла* прозрѣвшаго котенка и затисканную мышъ, и меня—свою сестру бѣдную—человѣка? И чтобы человѣкъ, и кошка, и мышъ нашли слово такое, чтобы расколдовать себя (потому что крупица, которая не отъ міра сего, какъ самый крѣпкій ядъ въ крови!) и чтобы огонь-то, не отъ этого міра, который позволяетъ, который даже приказываетъ мнѣ осудить и отрицать все, что не отъ огня моего, моего человѣческаго, не природнаго, не тѣлеснаго, не хлѣбнаго, не желающаго, не опаляющаго, красоты не здѣшней,—чтобы огонь мой разбудилъ своимъ звономъ міръ?..

Ахъ, видишь, я запугалась. Все должно быть ясно, чтобы работать плодотворно. Знаю. Вотъ еще немножко побуду одна. Я похожу одна. Выйду на берегъ и пойду по Россіи. Буду помогать руками людямъ, и чтобы ни одинъ закатъ не повторялся мнѣ на томъ же ночлегѣ. Буду нищею. И все разберу въ себѣ. Какъ это сдѣлать, чтобы не было въ человѣкѣ двухъ частей: одной въ заколдованномъ снѣ, другой въ безумной, но незаглушимой борьбѣ за невозможное?

А ты лучше меня, ты.....

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

На этотъ разъ я рѣшила обѣдать и пить утренній кофе въ столовомъ вагонѣ.

Рѣшила, потому что не имѣла въ себѣ позова снова ощутить то тягучее, глухое, знобящее истомленіе въ совсѣмъ пустомъ тѣлѣ, доставлявшее раньше какое-то тихое и очень изысканное сладострастіе моимъ нервамъ, душѣ—молчаніе и полетъ.

Душа молчала, словно мукою немного умиренная, словно несла и на своихъ запыленныхъ крыльяхъ частицу мутной и скорбной, въ вирномъ вихрѣ мчащейся земной жизни, причащалась ей тоской смертельной.



Дѣло въ томъ, что я не сильна и устаю отъ неподвижнаго движенія тряской, гулкой и безучастной быстроты...

И еще въ томъ, что я похожа на электрическую рыбу, — ее показываютъ въ роскошныхъ научныхъ акваріумахъ: если къ ней прикоснуться рукой, — такъ четко, сухо, какъ маленькій разрядъ, ударить по ручнымъ мускуламъ электрической токъ. Многозорили, что эти рыбы умираютъ въ изнеможеніи, выпустивъ свою силу.

Каждый нервъ моего тѣла—маленькая электрическая рыбка, и все, что глядитъ, — а глядятъ на меня и люди, и вещи,—прикасается ко мнѣ, и всѣмъ я отдаю четкими, сухими разрядами свои токи до изнеможенія,—до смерти...

И это—не любовь, а электричество.



И вотъ, когда дрожью я пронизывала гладко уносящіяся плоскія и прибранныя поля, —

ударялась о голыя, размѣренныя стѣны безмятежныхъ красно-кирпичныхъ домиковъ, —

расчесывалась сквозь ровные проборы саженыхъ прозрачныхъ лѣсковъ, —

трепеталась по доброкровнымъ, широкимъ лицамъ на строгихъ станціяхъ, синимъ глазамъ, и ртамъ, возглашающимъ и чрезмѣрно взволнованнымъ, и по широкимъ спинамъ высокоплечихъ лошадей въ легкихъ упряжкахъ, —

и переливалась, сочувствуя и не проникая, въ души странныхъ и тайныхъ людей, что такъ близко тѣснились, рядомъ и напротивъ меня, — что вмѣстѣ со мною, неподвижные въ быстромъ летѣ, мимо гладко убѣгающихъ предметовъ и пестро-горланистыхъ остановокъ, мчали свои участи радостей, пытокъ и разлукъ:

опустошаясь, отчуждаясь, изнемогало мое тѣло; тусклое, въ слабыхъ, остренькихъ ознобахъ умирало; а душа изъ большой тишины чрезмѣрнаго сочувствія вызволялась, получая тотъ крылатый,

бездѣльный полетъ, который и есть начало и конецъ всякой жизни.



На этотъ разъ, отправляясь въ дальнѣйшій путь, я не чувствовала позыва къ мукѣ знакомаго полета, Мои нервы всѣ сжались однимъ нетерпѣливымъ устремленіемъ—вмѣстѣ съ поѣздомъ дѣйственно преодолѣть всѣ эти пустыя и слишкомъ тѣсныя пространства чужой, плоской и крикливой страны.

Домой нужно было, гдѣ — большое и страстное и никому Завтра не обѣщано...

Поэтѣму, чтобы разбить сосредоточенность своихъ переливаній въ попутные предметы,—я рѣшила обѣдать и пить утреннѣй кофе въ столовомъ вагонѣ.



Противъ меня, за моимъ прикрѣпленнымъ къ стѣнѣ столикомъ у зеркальнаго окна, сѣла прямая нѣмка, высокая, полная, въ дамской шляпѣ съ сиренями, съ сумочкой черезъ плечи, пухлыми, крупными, бѣлыми руками, пріятно-мягкимъ, старѣющимъ лицомъ и пустыми, совсѣмъ синими глазами. Она спросила чашку чаю и вгрызлась рѣшительно и степенно крупными, бѣлыми зубами въ молочный хлѣбецъ черезъ его хрусткую, золотистую корочку.

Мы долго сидѣли такъ, молча, я — потребляя свою порцію кофе, она — чаю.

Потомъ, вдругъ, она подняла на меня свои синіе, пустые глаза, и я увидѣла, что они слегка косятъ.

Это тотчасъ отмѣтило ее въ моемъ воспріятіи: я отдала ей легкій, чуткій разрядикъ своего тока...



Она сказала строгимъ, ровнымъ, густымъ голосомъ, пріятнымъ моему слуху и человѣка достойнымъ:

— Я ѣду домой. Пробыла лѣто въ Испаніи, въ Пиренеяхъ.

Я спросила, волнуясь:

— Вамъ было хорошо въ горахъ?

— Да, тамъ красиво и дико. Я отдохнула. Зимой я утомилась.

Не выручалъ удобный столовый вагонъ, пріятный подносикъ съ теплымъ кофеемъ, — мое тихое, трепетное волненіе росло.

Какое дѣло мнѣ до нѣмки? А вотъ, она говорить, — слышу голосъ строгій и чужой, и вижу немного тревожный взглядъ синихъ, косыхъ глазъ...

Она говоритъ:

— Вы, вотъ, кофе пьете. А я его по утрамъ пить не могу. Только послѣ обѣда. Если бы хотя одну чашку выпила, — на весь день была бы больна. Онъ на меня плохо дѣйствуетъ... Прощайте! Добраго пути! Скоро моя станція.

Она плавно всгала и, положивъ деньги на свой подносикъ, гдѣ остался металлическій чайникъ съ приподнятой крышкой и сливочникъ съ недопитымъ

молокомъ, прямая, прошла узкимъ ходомъ между столиками и скрылась за раскатными дверьми ресторана.

*

Я еще осталась сидѣть. Меня бросало плавно изъ стороны въ сторону, почти какъ на морѣ. Плавно колыхалась вода въ полу-отпитомъ сифонѣ, на со-сѣднемъ столикѣ.

Я думала о нѣмкѣ. Потомъ рѣшила забыть, чтобы не думать о человѣкѣ, котораго никогда не встрѣтишь и который состарится и умретъ безъ твоего вѣдома.

Но къ чему-же я узнала, что она не можетъ пить кофею по утрамъ? Это было тепло, такъ живоотно, матерински, сестрински тепло, — знать о ней, что она пьетъ чай по утрамъ, а если кофей, то весь день послѣ него больна.

Вѣрно, это отъ сердца. У нѣмки, вѣрно, нездоровое сердце.

Но какое мнѣ дѣло?

ГОЛОВА МЕДУЗЫ.

Болѣзненно желтѣлъ свѣтъ газовыхъ лампъ, ненужный и подслѣпый. И къ стеклу съ улицы приложилась лиловая синева, жутко-прозрачная, насквозь зеленовато просвѣченная.

Всѣ столы и столики были заняты. За однимъ, маленькимъ, близко подвинутымъ къ узкому концу длиннаго, сидѣлъ Незнакомовъ. Совершенно прекрасное лицо, холодное, строгое въ окруженіи свѣтлыхъ, скульптурныхъ кудрей, странно сочеталось съ мертвенностью голубо-тусклыхъ глазъ. Передъ нимъ стояли бутылка и на половину выпитый стаканъ красного вина.

Сидѣла, спиной къ нему, предсѣдательствуя за узкимъ краемъ длиннаго, тѣсно усаженнаго стола, молодая, высокая женщина съ крѣпкимъ, бѣлымъ до-синя затылкомъ подъ чернымъ гладкимъ гребнемъ блестящихъ волосъ.

Женщина сидѣла прямая, неподвижная, молчаливая; по сине-бѣлымъ, узкимъ пальцамъ, оплетшимъ бокалъ съ блѣдно-золотистымъ виномъ, стекла серебристая пѣна.

И въ аломъ сердцѣ своего стакана Незнакомовъ видѣлъ невидимые ему черные глаза изъ блѣднаго строгаго лица, жесткіе, неумолимые, далекіе, безусловные. Они глядѣли вверхъ, пронизывая его

взглядъ, какъ пустоту, дальше, черезъ его мозгъ, въ невозможную даль. И ему становилось пронзительно, какъ отъ ледяной иглы, и стыли длинныя красивыя руки, нѣжныя, какъ женскія. И не могъ оторваться. И змѣились тамъ, во влагѣ, блестящія волосы вокругъ строгаго лба, гдѣ таилась угроза. Онъ не отрывалъ глазъ отъ видѣнія въ аломъ сердцѣ краснаго вина.

А тамъ ярилась похоть, и развязывался шумъ вокругъ строгой женщины. Критикъ съ кабаньимъ лицомъ, только что заказавшій еще двѣ бутылки шампанскаго, наклонялся, принюхиваясь толстыми, вздутыми, какъ волдыри, ноздрями, къ мерцающимъ подъ сквозною вуалью ткани плечамъ. Хохоталъ. Всѣхъ звалъ кончать пиръ къ своей богатой любовницѣ. Рыжій баронъ, котораго толстый, потный и вислый профессоръ направо называлъ баронессой, испитой и высокій, съ намекающимъ, двойственнымъ взглядомъ сѣрыхъ безстыдныхъ глазъ и повислымъ носомъ съ тонкими расширенными крыльями, зорко и жадно слѣдилъ за сосѣдомъ, восемнадцатилѣтнимъ мальчикомъ съ пугливымъ прячущимся взоромъ карихъ глазъ. Изъ-подъ спадающихъ волнъ каштановыхъ кудрей они бросали украдкой воровскіе призывы молчаливой и неумолимой. Рыжій баронъ поилъ его, притираясь колѣномъ къ его колѣну, и нѣжныя, дивно-смуглыя щеки юноши блѣднѣли матово, а вырѣзанныя по дѣтски, полныя губы подъ первымъ пухомъ усовъ нервно кривились, и, отвѣчая нашептываніямъ сосѣда, юноша какъ-то безпомощно

картавилъ. Профессоръ, рѣдко-волосый, бородатый, съ пуговкой между двумя подушками щекъ и дѣтскимъ взоромъ, еще молодой, все карячился, поводя бревнами плечъ, дурачился и бранилъ себя громко и хохотливо, чтобы быть услышаннымъ и оправданнымъ. Вихрастый, курносый маленькій бутафоръ, втиснувъ несуразную голову въ высокія плечики, хихикалъ, смачно поводя размоклыми, вывернутыми губами подъ подстриженными жесткими усами. Художникъ, быстроглазый, черноокий, съ вывороченными ноздрями задорнаго носика и мулатскимъ цвѣтомъ одутлаго, слишкомъ моложаваго лица, жеманничалъ съ непонятнымъ сосѣдомъ, мощевиднымъ, въ сѣрыхъ очкахъ и безъ возраста, который, мало обращая вниманія на него, ловилъ и глоталъ на полъ-пути молящіе сигналы юноши къ молчаливой женщинѣ. Блестѣли въ бутоньеркахъ красныя пятна камелій и гвоздикъ, а передъ женщиной стоялъ большой букетъ очень темныхъ алыхъ розъ. И запахъ вянущихъ цвѣтовъ мѣшался съ паркетною пылью, паромъ кушаній и надушеннымъ потомъ. Вяло и недовольно толкалась и перешептывалась прислуга въ чужихъ фракахъ. А лиловая синева за окномъ прозрачѣла, бѣлѣя, и газъ желтѣлъ, ненужный и больной.

Такъ кончалась ресторанная ночь, и тамъ, въ далекомъ краю зала, на круглыхъ часахъ между рѣзныхъ листьевъ высокой бумажной пальмы, Незнакомовъ замѣтилъ дальнозоркими глазами, какъ заползала стрѣлка за половину второго часа.

Онъ заказалъ себѣ вторую бутылку краснаго вина и увидѣлъ, какъ длинно шагаль черезъ комнату деревянною походкою великорослый, сухожильный, неподвижный на длинныхъ ногахъ, обтянутыхъ спортсмѣнскими чулками, человѣкъ.

Безъ минутнаго колебанія, безъ бокового взора новопришлый отмѣрялъ разстояніе по прямому направленію къ столу Незнакова. Домѣрилъ. Отодвинулъ стулъ напротивъ, нагнулъ деревяннымъ кивкомъ голову и, въ видѣ извиненія буркнувъ непонятное, переломилъ туловище и сѣлъ.

У сѣвшаго были непомѣрно большія щеки, и онъ съ трудомъ справлялся со своими челюстями: все старался прижать ихъ плотнѣе, но нижняя немного отвисала, дальше выдвигаясь, нежели верхняя, и обнажая поблескивавшіе два ряда крупныхъ золотистыхъ зубовъ. Лицо было большое, большое, и очень бѣлое, и гладко, мягко выбритое. А свинцовосѣрые глаза—совсѣмъ мертвые и подъ вѣками безъ рѣсницъ, отяжелѣлыми, какъ у человѣка недосыпающаго.

— Есть другія мѣста,—заговорилъ онъ отрывисто и небрежно вытискивая слова сквозь зубы,—я сюда. Здѣсь всегда.

— Это ничего,—отвѣчалъ Незнакомовъ съ обстоятельною ясностью произношенія.

— Мистеръ Фэресъ. Мое имя.

— Здравствуйте, мистеръ Фэресъ. А я—Незнакомовъ. Вы англичанинъ?

— Да. Вы здѣсь часто.

— Здѣсь? Да, мистеръ Фэресь. Каждый вечеръ. Только обыкновенно вонь въ томъ углу, противъ длиннаго стола. Оттуда лучше всѣхъ видно. А сегодня было занято.

— Эау, такъ.

Англичанинъ спросилъ себѣ виски съ содовой водой и уставился, застылый, въ бѣлое пятно крѣпкой женской шеи подъ блестящимъ гребнемъ черныхъ волосъ.

Незнакомовъ не могъ болѣе глядѣть въ свой стаканъ. Имъ овладѣвало безпокойство. Неизмѣримыя щеки и мертвый свинцовый взглядъ англичанина словно присасывали голубо-тусклую пустоту его глазъ. Онъ, несвойственно волнуясь, спросилъ:

— А вы собственно зачѣмъ...

И несвойственно запнулся.

— Что зачѣмъ?—переспросилъ тотъ беззвучно.

— Я хотѣлъ сказать, мистеръ Фэресь, зачѣмъ—сзади?

— Аэу! сзади? Женщина сзади лучше. Съ лица не то. Мягко.

— Вы находите?—Несвойственное волненіе Незнакомова росло.—Это интересно.

— Аэу! Интересно. Находите? Радъ. Мнѣ и сзади скоро скучно.

— Скучно?

Англичанинъ наконецъ отвелъ медленные сѣрые зрачки отъ женщины и направилъ ихъ прилипающій взглядъ на Незнакомова. Молча онъ положилъ правую руку на столъ ладонью вверхъ. Рука была боль-

шая, широкая, и казалась мягкой, несмотря на силу; и ладонь показалась Незнакомову очень бѣлою и странно гладкою, потому что ея не бороздили линіи жизненныхъ исполненій. Только черезъ ровное, однотонное русло воли и судьбы перерѣзалась непонятно рѣзкая, рѣшающая черта. И Незнакомовъ глядѣлъ; не понимая, но притянутый. Толкнулъ нечаянно стаканъ съ краснымъ виномъ, и алая влага разлилась, подтекла подъ бѣлую не двинувшуюся руку.

Пальцы руки на красномъ винномъ пятнѣ немного растопырились, и каждый изъ нихъ, длинный и сильный, ожилъ самъ по себѣ, какъ бы своею отдѣльною жизнью, и линіи cadaго стали такъ отдѣльно выразительны. У конца cadaго щупальный мускулъ слегка напухалъ, нервно напряженный.

Оба они теперь долго и внимательно разсматривали неподвижно лежащую руку. Потомъ, не поднимая глазъ, англичанинъ лѣниво выцѣдилъ:

— Скульпторъ.

Покорно Незнакомовъ подтвердилъ:

— Я такъ и думалъ, мистеръ Фэресъ. Мы братья. Я художникъ.

— Аэу!

— Я люблю искусство, мистеръ Фэресъ.

— Мягко! — съ гадливостью буркнулъ скульпторъ.

— Мягко?

Незнакомовъ терялся. Но неподвижный англичанинъ вдругъ заерзалъ всею тяжестью широкихъ костей на своемъ нетвердомъ стулѣ, и рука повернулась мгновенно ладонью внизъ, а пальцы быстро,

жадно и упорно задвигались. Какъ бы нечаянно ударились по пальцамъ, къ нимъ мимовольно протянувшимся, Незнакомова,—мягко мчащимся упоромъ отронули всю блѣдную женственную, худощавую руку и вновь упали неподвижно навзничъ на красное пятно по скатерти. Незнакомовъ, содрогнувшись, отдернулъ руку. Скульпторъ сказалъ:

— Я всегда пальцами. Глазами нѣтъ. И всегда мягко. Вотъ собака. Есть такое мѣсто, подъ плечомъ. Тонетъ глубоко въ мякоть, какъ...

— Прѣль.

— Аэу! Не зналъ: прѣль. You see. Вы видите. Молоко теплое.

— Парное.

— Аэу! Не зналъ. Вы видите. Гадко. Камень люблю. Теперь не люблю. Камень обманетъ. Тоже.

Незнакомовъ сильно взволновался.

— Вотъ это неправда, мистеръ Фэресъ, про камень. Это не правда. Камень не обманетъ. И краски тоже не обмануть. Нужно только узнать, чего онѣ хотятъ...

— Аэу! Кто хотятъ?

— Краски. И камень тоже.

— Про камень знаю.

— А я про краски. Онѣ хотятъ бѣлаго цвѣта. Но не могутъ, пока у нихъ тѣни. Вы узнали, что у красокъ есть тѣни и оттого онѣ не могутъ стать бѣлымъ?

— Аэу! Я вижу, что все, значить, тѣни.

— Да. Вотъ тогда радуга, когда у каждого цвѣта появится тѣнь.

— Я вижу. Такъ. Для того, чтобы безъ тѣни было, я здѣсь.

— А! Бѣлыя ночи.

— Вы видите. Можете понимать.

— Но, видите-ли, весь міръ отъ тѣней сталъ.

— Аэу! Не любите?

— Міръ-то? Нѣтъ, ничего. Я скоро полюблю міръ, мистеръ Фэресъ. Вотъ какъ пойму еще получше.

Англичанинъ не слушалъ теперь. Снова, отвернувшись, притянулся сѣрыми зрачками къ бѣлому пятну крѣпкой двуствольной шеи близко возлѣ. Тамъ пили уже новыя бутылки изо льда. И шумѣли больше. Художникъ показывалъ эскизы своихъ иллюстрацій къ какому-то заграничному порнографическому изданію. Бранили Ропса за дутый шарлатанизмъ. Хихикали. Въ стаканѣ, вновь наполненномъ красною влагою, Незнакомовъ наблюдалъ блѣдное лицо неизвѣстной. Она сидѣла тоскующая, далекая. Улыбалась непонятно. Отвѣчала вѣжливо и далеко. Если поднять глаза и поглядѣть на тотъ столъ, видны блѣдныя руки съ голубыми жилками, вытянутыя по скатерти. Онѣ давали тонкіе пальцы поцѣлуямъ критика съ кабаньимъ лицомъ. Незнакомовъ не любилъ критика.

Лица стали лиловыми въ бѣломъ днѣ ночномъ, и предметы безъ тѣней, потому что газъ не имѣлъ силы на тѣни. Въ бѣлое окно глядѣло странное, блѣдное, ясное зданіе съ окнами и стѣнами, совсѣмъ настоящее и неподвижное, но безъ увѣренности и безъ растяженія.

Скульпторъ отнялъ глаза отъ шеи женщины и перенесъ зрачки на Незнакова.

— Я разсвѣтъ не люблю, — заговорилъ онъ выплевывая слова съ гадливостью изъ прижатыхъ зубовъ и улавливая опадающую въ отвращеніи тяжелую челюсть.

— Въ Лондонѣ я всегда рано. Бѣлый свѣтъ, мягкій. Отвратительно. Живой, толстый. Онъ беременный.

— День родится, мистеръ Фэресъ.

— Вы видите. И мимо. Все пойдетъ мимо. Я лежу. Все будетъ мимо до темноты. Долго жду до темноты. А я самъ пустой, и такое раздраженіе круглое, мягкое.

— Дряблѣе.

— Дряблѣе. Аэу! Такъ. Не зналъ. Шаги есть на улицѣ, дряблые. Звонъ динъ-донъ въ церкви — и побѣжалъ, побѣжалъ по бѣлому. Также овцы. Топотъ мягкій и мимо по камню. Я голову подъ подушку.

Снова волнуясь не въ мѣру, Незнаковъ прервалъ:

— Ну, а часы, мистеръ Фэресъ?

Фэресъ поднялъ слишкомъ огромную руку и закачалъ ею около своего лица, отмѣряя съ неумолимою строгостью грани ударовъ. Онъ пришептывалъ съ омерзѣніемъ:

— Тикъ — такъ. Тикъ — такъ. Бѣтъ — бѣтъ. Бѣтъ — бѣтъ. Мимо — мимо. Мимо — мимо. Кусочки — кусочки.

Онъ опустилъ руку.

— Часы старые. Большой, мѣдный, круглый внизу качается. Глупое лицо. Я голову подъ подушку. Вы видите. Съ вами можно. И хуже. Рука подъ одѣяломъ. Вотъ пальцы!

Онъ подвѣгалъ живыми пальцами передъ лицомъ Незнакомова. Они казались каждый отдѣльнымъ жаднымъ звѣркомъ, въ родѣ змѣйки; а большое, съ безконечными щеками и опадающей челюстью, лицо Фэреса—дряблую, бѣлою топью. Зубы гадливо не разжимались.

— Наверхъ бѣгутъ. Щупаютъ. Тепло, мягко. Какъ вы сказали?

— Я сказалъ—прѣль, мистеръ Фэресь.

— Аэу! Я вижу. Прѣль. Червякъ. Червякъ въ животѣ. Вставать не могу. Все мимо. Хочу, чтобы стояло и не мягко. Прежде лѣпилъ глиняную Иду Настоящая, мягкая. Какъ вы сказали?

— Парное молоко, мистеръ Фэресь.

— Вы видите. Парное молоко. И червь въ ней есть. И все одно и то же. Пальцы лгутъ. Вотъ такъ пробѣгутъ, и все измѣнится. Я, если бы пальцы отрѣзать, не сталъ жить. Скучно. Лежу тамъ и плачу. Такъ до вечера. Ночью лѣпилъ. Ида днемъ придетъ, закроетъ окна занавѣсью. Я двѣнадцать часовъ не люблю. Тоже тѣней нѣтъ у вещей. Свѣту много. Такъ все, какъ вода...

— Льется.

— Аэу! Совсѣмъ такъ. Льется, и мимо. Тамъ садикъ былъ. Если вышелъ: земля мягкая, прѣль, парное молоко и черви...

— Дряблые.

— Аэу! Вы видите. Совсѣмъ такъ. Дряблые. Куда я пойду? Я одинъ. Все проходить. Лежу. Плачу. Ночью,—только темно,—она, Ида. Тискаеть трется. Ба! ба! Прѣль. И все опять начинать.

Онъ замолчалъ, совсѣмъ усталый, даже плечи пропустились, и сталъ онъ пониже ростомъ. Снова мертвые глаза оперлись о твердую, двуствольную шею женщины вблизи, и съ усталою злобою онъ бормоталъ:

— Жестко, а? Какъ думаете? Женщина сзади лучше.

Онъ снова одеревенѣлъ, и безмѣрные щеки натянулись. Даже челюсть нижнюю онъ какъ-то уловилъ и насадилъ тверже, такъ что зубы открылись подъ сухими, вытянутыми губами. Онъ казался лилово-сѣрымъ въ странномъ свѣтѣ.

Незнакомовъ вздрагивалъ легкою дрожью, и ему было слегка пріятно ощущение страха. Казалось ему, большой лилово-бѣлый паукъ обматываетъ его сѣтью. Неподвижно сидитъ, а сѣть какъ-то плетется, липнетъ. И кровь тихо и вѣрно высасывается изъ его стынувшихъ жилъ. Онъ ужъ не могъ смотрѣть въ свой стаканъ. Глядѣлъ въ тѣ глаза, устремленные къ затылку женщины, и, не улавливая лилово-сѣдыхъ зрачковъ, видѣлъ только свинцовую ихъ голубизну, и его глаза блѣднѣли и пустѣли, повторяя тѣ. Какой-то беспорядокъ происходилъ въ его мозгу, онъ бормоталъ, стараясь быть отчетливымъ:

— Послушайте, мистеръ Фэресь, какъ это можетъ

быть, что вы, собственно, все въ постели въ Лондонѣ лежали, а сегодня вы здѣсь оказались? И зачѣмъ вамъ въ Петербургѣ жить?

— Здѣсь. Аэу!—неспѣшно отвѣчалъ англичанинъ, и не отнималъ глазъ отъ пятна подъ затылкомъ передъ собою.—Здѣсь вотъ какъ. Много Идѣ. Все то же самое, и опять нужно, и мимо. Я потомъ сталъ цѣловать сзади, гдѣ крѣпко. А теперь и это не стоитъ. Просто гляжу. Каждую ночь.

— Да какъ же вы нашли ея затылокъ, если вы всегда въ постели плакали тамъ у себя?

— Аэу! Какъ? Первый еще въ Лондонѣ. Этотъ здѣсь. Сюда вотъ какъ.—И, говоря, онъ не отворачивалъ отъ своего магнита мертвыхъ глазъ.—Тотъ тоже жесткій. Тотъ—какъ старый мраморъ, какъ молоко у васъ дѣлаютъ.

— Съ налетомъ золотымъ...

— Аэу! Вы видите. Онъ ѣхалъ на станцію. Я за нимъ. Въ вагонѣ я съ нимъ. Она все молчала. Что-то думала. Мнѣ еще лучше. Я близко къ нему. Она на вашу границу. Я съ ней. Ее на границѣ ваши солдаты окружили. Я гляжу. Она въ карманъ только успѣла. И ножикомъ—маленькій для карандаша—и дзикъ такъ по шеѣ, отъ него къ переду. Солдаты закричали, шумъ. Я поближе. Она лежала. И кровь, много крови, какъ корова. А онъ блѣдный, блѣдный сталъ. Но какъ съ... Вы сказали.

— Съ золотымъ налетомъ.

— Аэу! Да. Безъ налета. Мнѣ такъ нравится. Я самъ хочу.

Глаза англичанина оторвались отъ магнига шеи, широко раскрылись на Незнакова, и бѣлки стали выпуклыми, безмѣрными — лиловыми полушаріями. Незнаковъ дрожалъ мелкою дрожью и охотно гримасничалъ, отражая мимовольно ужась тѣхъ выкатившихся свинцовыхъ глазъ. Ему стало трудно дышать.

— Что же вы хотите, мистеръ Фэресъ?

Фэресъ поднялъ тяжелую руку и провелъ ею отъ затылка къ груди вдоль своей бурой, обнаженной подъ мягкимъ отложнымъ воротничкомъ шеи

Совсѣмъ неожиданнымъ, хриплымъ голосомъ Незнаковъ произнесъ:

— Зарѣзаться.

И очнулся вдругъ. Къ чему было бояться? Развѣ въ этомъ было страшное? И самъ онъ только-что на аломъ днѣ не видѣлъ худшаго? Не пронзался его мозгъ ледяной иглой?... Онъ сказалъ спокойно и стараясь быть очень явственнымъ:

— Это совсѣмъ не то, мистеръ Фэресъ. Это очень балаганно.

Англичанинъ не понималъ.

— Балаганно. Вы такъ сказали. Что это?

— Видите ли, мистеръ Фэресъ, не въ крови совсѣмъ дѣло, а въ гибели. Если сердце пожелало гибели, то ужъ все сдѣлано. Все забыто, что по ту сторону, и любовь не спасаетъ. Это и хорошо, что нѣтъ спасенія. Потому что тогда жизнь, такая жалкая, — уже вся проклята. Къ чему же тогда еще рѣзаться?

— Аэу! Къ чему же рѣзаться? Вамъ не нравится? А мнѣ нравится.

Англичанинъ вновь глядѣлъ, не отрываясь, въ свой магнитъ. И вдругъ Незнакомовъ понялъ, что Фэресь тоже безуменъ, и ему стало весело. Онъ допилъ вино. Спросилъ еще бутылку. И сказалъ тихо:

— Я пью не для пьянства.

— Аэу! Такъ. А для чего?

— Чтобы она мнѣ явилась.

— Кто?

Незнакомовъ еще разъ испугался—и сильнѣе прежняго, потому что отъ себя самого,—но отвѣчалъ рѣшительно:

— Непонятная... Она скажетъ послѣднее.

И ждалъ разспросовъ, какъ обреченный сказать гсе. Поблѣднѣлъ и не спускалъ глазъ съ тѣхъ мертвыхъ, долго глядѣвшихъ теперь въ его глаза,—какъ жертва съ мучителя.

Но Фэресь вдругъ оторвалъ глаза и, спокойно повернувъ ихъ къ шеѣ подъ чернымъ гребнемъ волосъ женщины, заявилъ:

— Аэу!.. У меня по утрамъ.

Незнакомовъ вздрогнулъ. Этого онъ не ждалъ и не могъ допустить. Если тотъ тоже безуменъ, то не его же безуміемъ, потому что если двое безумны одинаково, значитъ—уже сомнительно самое безуміе, оно просто жизнь. Но куда же тогда спастись отъ жизни? Откуда посмотрѣть на жизнь? Онъ спѣшилъ себѣ несвойственно, и себѣ несвойственно спотыкался въ словахъ:

— У васъ? Кто? У васъ тоже?

Англичанинъ, не отодвигая взгляда, отвѣчалъ:

— Голова.

— Одна голова?— съ надеждою спрашивалъ Незнакомовъ.

— Вы видите. Съ вами можно. Одна голова.

— Ея голова?

— Аэу! ея? чья голова?

— Этой, видите-ли. Эта непонятная... Вы, мистеръ Фэресь, что думаете? что она проститутка, кокотка? Это все равно, мистеръ Фэресь. Мнѣ это очень знакомо. И не нужно больше. А я живу. Значить, помимо живу. Вотъ для чего.

И онъ указалъ на свой недопитый стаканъ съ краснымъ виномъ.

— Пить?

— Нѣтъ, глядѣть. Здѣсь глаза.

— Глаза. Аэу! Вы видите. У меня тоже глаза. Незнакомовъ пугался мучительно.

— У васъ?

— Да. Это голова. Глядите. Вы понимаете. Это моя голова. Я не гляжу на нее. Она глядитъ на меня. Такъ безъ конца, и ничего больше. Это такая скука!

Незнакомовъ повторилъ невольно:

— И ничего больше...

— То есть не то, чтобы ничего,—пояснилъ англичанинъ, поворачиваясь всѣмъ вѣскимъ, хотя и сухимъ тѣломъ, къ Незнакомову.

— Она нѣкоторые раза измѣняется. Нѣкоторые

раза растеть сама. Это такъ: сначала она совсѣмъ маленькая, какъ голова у булавки, потомъ все шире, шире и всю комнату наполняетъ, а если въ окно посмотрю, такъ всю ночь наполняетъ, всю ночь. Она одна, и больше ничего нѣтъ. А иногда совсѣмъ другая вещь: она совсѣмъ пропадаетъ, и только ея глаза. Всюду ея глаза на меня глядятъ. Изъ всѣхъ вещей. И я гляжу. И тѣ глаза—мои глаза. А мои глаза—тѣ глаза.

— А чего они просятъ, всѣ тѣ ваши глаза?—спросилъ Незнакомовъ, сильно интересуясь.

— Аэу! просятъ? Это я очень хорошо понимаю. Камня просятъ. Вы не понимаете? Камня просятъ.

Незнакомовъ не двигался, и они долго молчали. Холодная игла сползла изъ мозга по спинѣ даже до ногъ, и трудно стало пошевелиться. Вдругъ все остановилось. Онъ погрузился въ пурпуровый мракъ. Это была еще краска крови, но уже онъ не слышалъ ея водяного бѣга, кругового, безначальнаго, безконечнаго, безформеннаго. Казалось, жидкая кровь и дряблѣе тѣло поняли законъ линіи и неизблѣмость предѣла. И въ глухой мудрости, дивно исчисленными изломами, стѣснялось все это вялое, парное, безгранное въ твердо отмѣченныя, извѣчно неизбѣжныя формы кристалловъ... Это-ли разгадка? Это-ли послѣдняя цѣль? Это-ли пріятіе высшей жизни? Эта сіяющая, четко-гранная каменность?

Незнакомовъ съ трудомъ двинулъ губами, чтобы прошептать неожиданныя себѣ два слова:

— Голова Медузы.

Англичанинъ словно ждалъ этихъ словъ и не удивился имъ. Но окончательно повернувши всю свою тяжесть къ Незнакомову, заговорилъ дальше о своемъ, уже глядя прямо свинцовыми глазами въ глаза Незнакомова:

— Слышали, какъ лава лопается?

— Звякъ, брякъ. Знаю.

— Вы видите. Звякъ! брякъ! Какъ громъ мѣдный. Это большіе, какъ въ морѣ...

— Мѣдные валы.

— Вы видите. Мѣдные валы.

— Накатываются. Перекатываются. Застываютъ. Я былъ подъ Этной.

— Аэу! Да, да.

— Ну, понимаю. Чего же вы хотите?

— Хочу? Аэу! Хочу каменную женщину. Я еще въ Лондонѣ такую рубилъ. Только въ домѣ нельзя. Она сидитъ. Тѣло—гора въ землю вростаетъ. Глаза глядятъ, какъ пушки изъ пещеръ. Я потолокъ снялъ. Все равно. Нельзя. А я хочу на горѣ ее сдѣлать. Голова глядитъ черезъ долину. Глаза изъ пещеръ. Черезъ долину вторая женщина. Голова лежитъ.

— Запрокинулась.

— Запрокинулась. Аэу! Да. Опять ея лицо. Она мертвая. Тѣло также гора. Это вторая гора черезъ долину. Поняли? Вѣки на глазахъ подъ большими дугами.

— Какъ арки пещеръ.

— Аэу! Да. Это очень спокойно.

— Вѣчный покой.

— Аэу! Это у васъ поютъ такъ. Это очень хорошо. Только вы мнѣ скажите, пожалуйста: гдѣ же здѣсь Смерть? Та, которая глядитъ? Или та, которая закрыла вѣки? И гдѣ-же мягко? И тепло? И гдѣ тикъ-такъ? Тикъ-такъ?

И онъ помахалъ огромною, блѣдною ладонью передъ лицомъ Незнакова и, задохнувшись вдругъ, потянулъ воздухъ въ свой большой, словно каменный носъ, съ шипомъ и стономъ. Потомъ уронилъ махавшую руку всею тяжестью на женственную руку Незнакова. Незнаковъ не высвобождалъ своей руки. Онъ спросилъ, весь стиснутый, очень тихо:

— А долина?

Англичанинъ вдругъ рѣзко расхохотался.

— Долина? Аэу! Долина узкая. Долина — рѣка. Только это не вода. Вода блестить, играетъ, бѣжитъ, бѣжитъ прочь, и снова... Это лава, которая уже застыла. Га, га, га! Вся лава застыла. Они такъ лились, одинъ на другой, и застыли.

— Га, га, га! съ страннымъ торжествомъ вырвалось у Незнакова.

— Каждый валъ — титанъ. Много титановъ. Го, го, го: не въ студии стучать титановъ!

— Ковать титановъ, — поправилъ, себя не замѣчая, Незнаковъ.

— Звякъ, брякъ! — вспомнилъ Фэресь. — Громовой! Титаны великіе. Лица у титановъ кривыя — оттого, что мѹка, мѹка у титановъ.

— Скорчило.

— Скорчило. Да. Это какъ змѣю надъ огнемъ. Лбы у нихъ, какъ океаны. Тоже мѣла — валы. Брови — это лѣса, всѣ кривые.

— Въ изломъ.

— Въ изломъ? Аэу! Да. Глаза нѣкоторые туда втиснуло. Другіе...

— Выперло.

— Выперло. Хотятъ скакать, лопнуть. Это мѣдныя пузыри. Губы — трещины. Это какъ будто земля тряслась и лопнула. А груди натянулись, ребра рвутъ на бокахъ такіе, какъ узлы, мускулы. А ноги уже вмѣстѣ такъ...

— Сплавились.

— Это отъ огня прежде. А теперь холодныя. Только идти не могутъ, и онѣ толкаютъ гору, гдѣ женщина глядитъ. А головы здѣсь...

— Темена.

— Темена. Аэу! Очень хорошо. Темена толкаютъ гору, гдѣ женщина мертвая. Ничего. Не бойтесь.

— Не столкнутъ.

— Не столкнутъ. Вы видите. Такъ кончились Воля и Время.

— А! вотъ что!..

Теперь пальцы англичанина согнулись подъ тонкую ладонь Незнакова и всею каменною силою впивались въ скрытую подъ тою большою рукою узкую руку.

Незнакову нравилась боль, и онъ не двигалъ руки. На его слишкомъ прекрасномъ для подвижности лицѣ, застыломъ въ божественной каменности,

странно и почти жутко задергался одинъ верхній уголокъ брови, отчего по глади высокаго, строгаго лба затрепеталась, какъ отсвѣтъ, легкая рябь. Но рука его покоилась неподвижно въ окаменѣломъ пожатіи большого друга...

ЛОНДОНЪ.

ИЗЪ БУМАГЪ МОЛОДОГО ОПАЛИНА.

Въ дроинг-румѣ*) вчера вечеромъ было шумнѣе обычнаго. Къ дѣвицамъ пришли какіе-то юноши, играли въ игры, чтобы законно цѣловаться за фан-тами, и вечеръ кончился веселыми драками, причемъ младшая, Ба'рбара поблѣднѣла отъ безумнаго задора, и сѣрые зоркіе глазки сверкали почти ослѣпительно. Степенная М̄ргаретъ визжала въ рукахъ старшаго гостя, кудряваго, темноглазаго, очень высокаго, гнущаго тонкій, упругій станъ. Сама миссисъ Ральфъ блѣдно улыбалась на молодежь со своего шэзлонга, гдѣ ежедневно томно умираетъ послѣ обѣда. На шумъ выступилъ изъ своего кабинета и самъ мистеръ Ральфъ и глядѣлъ на веселую четверку, ухмыляясь въ густую, всегда необыкновенно опрятную (несмотря на презрѣніе къ салфеткѣ), свѣтлую, сѣдѣющую бороду.

*) Гостиная.—сборное мѣсто семьи.—Авторъ дневника, очевидно, разрѣшилъ себѣ роскошь числиться одновременно членомъ двухъ семейныхъ пансіоновъ и живетъ то у Ральфовъ въ предмѣстіи Хэмпстэдъ, подлѣ загороднаго парка Хэмпстэдъ-Хиѣъ, то у Бруксовъ близъ Юстонъ-Сквэра, неподалеку отъ Британскаго Музея, въ библіотекѣ котораго работаетъ. У Бруксовъ онъ, въ собственномъ смыслѣ,—„дома“. Записи 1, 3 и 4 сдѣланы въ Хэмпстэдѣ, 2 и 5—въ городѣ.

— Идите играть! — крикнула мнѣ Ба'рбара немного охрипшимъ отъ всхлипывающего смѣха, но все еще звонкимъ голоскомъ.

— Какой вы серьезный!.. И такой молодой! — замѣтила медлительно миссисъ Ральфъ.

Тамъ, сквозь входную дверь или черезъ окно дроинг-рума, я услышалъ невозможный для слуха шорохъ ея шаговъ по каменнымъ ступенямъ крылечка. И тотчасъ — стукъ висячаго молотка во входную дверь: разъ, два, три...

Снизу, изъ кухоннаго этажа, тяжелая поступь прислуги, — и дверь скрипнула и снова ударилась, закрывшись.

— Всегда Анна хлопнетъ дверью, — это ужасно вульгарно! — недовольно шепнула миссисъ Ральфъ.

Я ждалъ. Сердце стояло, тоже ждало. Это ужасно — эта сладость, ни съ чѣмъ несравнимая, развѣ съ острою, зикающею мукою.

Хайасинѣъ*) вошла. Это — не дѣвушка. Вѣянье дѣвушки. Она двигалась, какъ бы не рѣшаясь еще, какъ бы удивляясь, не понимая, какъ она попала къ нимъ и какъ это могло случиться, что она все-таки должна такъ входить изъ передней, такъ — легкими ногами, какъ-бы въ замедленномъ ритмѣ танца, наминать этотъ потертый, все-же пыльный — несмотря на хозяйственные заботы миссисъ Ральфъ — коверъ.

*) „Хайасинѣъ“, почти „Хайсинѣъ“ произносятся англичане женское имя: Гіацинта (Hyacinth).

Мнѣ хотѣлось... не знаю, что сдѣлать,—но что-то долженъ былъ, чтобы она не ступала: отчего она не летаетъ?.. Какой вздоръ!.. И вотъ, она подходитъ къ этой худой, сѣрой, жеманной, съ узкими, привычными плакать глазами, дамѣ и, цѣлуя ея сморщенную бѣдную руку, шепчетъ, сіяя золотистыми лучами своихъ карихъ очей:

— Добрый вечеръ, мамма!

И такъ же—къ отцу.

Какая нелѣпость! Она—не ихъ дочь!..

Она не обѣдала. Потому что я сидѣлъ одинъ среди другихъ и долженъ былъ доѣсть баранину и пудингъ...

И вотъ онѣ ее спрашиваютъ, сестры:

— Ты голодна? Мы сейчасъ будемъ кофе пить. Хочешь сандвичей съ ветчиной?

— Нѣтъ. Право, нѣтъ... Добрый вечеръ, мистеръ Опалинъ.

Я всталъ, не понимая, какъ всегда въ эти минуты, что дѣлаю, и молча наклонилъ голову, принимая легкую, узкую, прохладную ручку.

Или это не дѣвушка,—то-есть, юноша? то-есть, переодѣтый юноша?..

Это я сегодня думаю, записывая. Больше вѣдь ничего не случилось. Оттого что я вчера, тотчасъ почти послѣ ея руки,—вышелъ. Мнѣ было довольно.

Волосы ея—тончайшая сѣтка совсѣмъ пышныхъ, золотыхъ нитей. Она ихъ носитъ спущенными по плечамъ. Вѣроятно, иначе невозможно. Глаза темнѣе волосъ, но тоже золотистые.

Я оттого ушелъ,—то-есть, мнѣ оттого стало довольно,—что она такъ поглядѣла на меня, когда сказала: „добрый вечеръ, мистеръ Опалинъ“, -- такъ прямо, очень свѣтло, почти притронувшись глазами,—и побѣдно...

.....

Только-что выходилъ къ лёнчену*). Ея не было!

Узналъ, что вчера къ дѣвицамъ приходили не юноши. То-есть: одинъ изъ нихъ — фотографъ-художникъ и десятилѣтній женихъ Маргарэтъ. То-есть, не ему десять лѣтъ, а его жениховству...

И эта нездѣшная дѣтскость ея страннаго, не то чтобы красиваго лица!.. Гдѣ-то тамъ,—просто тамъ,—должны быть такія дѣти, такія просвѣченные и—вѣдающія...

2.

Дома, на стукъ дверного молотка, мнѣ открыла идохнула на меня сивушнымъ масломъ сама хозяйка. Это—отъ виски, которую она тянетъ постоянно. Чернобурые, путанные волосы свисли ей на узкій, выпуклый лобъ; помятое, грязное, истощенное лицо еврейской красоты передернулось косо сладимою улыбкой; шурились глаза съ засоренными углами. Она была противна и изгибала худой станъ подъ ношею своею годового сосуна... Взглянулъ-таки, противъ желанія, на ребенка-скелета, изсиня-бѣлаго, пахнущаго гноемъ и пеленками,

*) Завтракъ.

стонущаго тихимъ животнымъ мычаніемъ. Вспомнилъ, что докторъ Нэшъ, за брѣкфастомъ,*) разсказывалъ „гостямъ“ нашего пансіона, какъ мужъ хозяйки, выбросивъ ее изъ супружеской постели, колотилъ на полу.

Спѣшилъ навѣрхъ къ себѣ, унося съ собою мучительно-зазывный взглядъ черныхъ, грязныхъ глазъ и запахъ ея затертаго, пропотѣлаго капота и виски.

Плохо попалъ въ этотъ неопрятный бордингхаусъ.**) Но не хватало рѣшенія искать иного убѣжища. И... глупая жалость къ этимъ разоряющимся и дерущимся супругамъ!.. Впрочемъ, у мистера Брукса необыкновенно джентльмэнскій видъ томнаго брюнета.

Довольно. Я вѣдь рѣшилъ вести добросовѣстный протоколъ всего этого ужаса, какъ матеріалъ для своей работы. Но не знаю, такъ ли нужно. Все равно, все годится. Кто родился, какъ я, безъ кожи, у того нервы очень болятъ. Оно, кстати, и успокаиваетъ—писать... И пусть, безъ утайки, я весь послужу себѣ, какъ ближайшій „матеріалъ“! Иду сейчасъ въ Музей.



Плохо читалось вчера въ Музеѣ. Вышелъ раньше обѣденнаго часа. Еще ни одинъ „Сити-джентльмэнъ“ не возвращался изъ страннаго своего города

*) Первый, ранній завтракъ.

**) Домашній пансіонъ.

въ городѣ,*) гдѣ не живутъ, но приковываютъ колечко къ колечку той великой и всевластной кольчуги, которую люди зовутъ геніальною постройкой капиталистической культуры.

О, бездарное человечество! Сколько вѣковъ еще будетъ оно тратить умъ, геройство и святость на то, чтобы развязывать злобно связанное и дальше сплестать себѣ, позорно, невѣдомо-новые бѣды и провалы!

Но придетъ все-же день, когда легче станетъ оно ворочать изболѣвшее тѣло и даже совсѣмъ почти оживетъ. Тогда услышитъ оно иные стоны, чѣмъ стенанія обойденныхъ вороватымъ и подслѣпымъ экономомъ,—и болѣе непоправимые.

Горе слышащему мольбу о хлѣбѣ—и стенаніе Психеи по прекрасному и утерянному любовнику. Любви, любви просить земля, но не распри и не закона..

Это я такъ размышлялъ на Оксфордъ-Стритѣ, гдѣ голоса призывающей Психеи не слышалъ бы никто—за воплями голодныхъ кондукторовъ съ безчисленныхъ качливыхъ бассовъ**) въ два этажа, громыхающихъ безъ рельсъ по камнямъ, за гуломъ кэбовъ и звономъ подковъ легкихъ, неслышно катящихся, двухколесныхъ хэнсомовъ, за глухо гудящимъ говоромъ тысячеголовыхъ двухъ плотныхъ рѣкъ,—протекающихъ и сбивающихся заразъ двумя

*) Сити—торговая часть Лондона.

**) Омнибусовъ.

обратными теченіями странныхъ человѣческихъ рѣкъ,—и за тѣми слитыми въ одинъ верещащій вопль всплесками необъяснимыхъ и злыхъ звуковъ большого города, гдѣ каждое пробѣгающее мгновеніе задавливаетъ затерянную въ милліонахъ жизней жизнь... Или то дробятся валы новыхъ и новыхъ далекихъ прибоевъ? Тамъ вскинула избыточная сила вверхъ на пять саженъ фонтанъ тяжелыхъ камней,—и рушатся обратно со свистомъ въ стихію. Тамъ стоны тонущихъ, тамъ трескъ разбиваемыхъ корабельныхъ костяковъ, тамъ журчаніе отливныхъ по песку струй, тамъ гулъ наливающихся водою сталактитовыхъ пещеръ... И откуда-то—пѣснь Сирены!.. То—музыкальные колокола остроплечихъ, черныхъ, колющихъ сизое небо церквей, и, какъ кружево ихъ украшеній,—этотъ переливный, тонкій звонъ... Странно, несущественно, какъ-бы эфиръ, не воздухъ волнующій, носится онъ надъ тяжелымъ, плотнымъ гуломъ и отгуломъ.

Гляжу въ безмѣрныя витрины магазиновъ. Лежитъ культура на выставкахъ оконныхъ и такъ умильно глядитъ милльярдами отдѣльныхъ головокъ, словно каждая милая вещь, тихая и невинная, скрываетъ въ себѣ свою бабочку-Психею; и вижу глаза cadaго предмета, который созданъ и ожилъ и проситъ любви. Вотъ канделябръ изъ бронзы, вотъ кожаный несессеръ, вотъ статуэтка фарфоровая, и скрипка, и кустъ пунцовыхъ розъ, и зеленая бронзовая ящерица, и восковая кукла, и кружевная рубашка безъ тѣла—и еще, и еще,

и еще... И вотъ эти люди въ короткихъ юбкахъ и длинныхъ таліяхъ, съ ангельскими лицами и кудрями, очень красивыми, но однообразными, или тѣ, въ коляскѣ, или тоже по троттуару тягуче шествующіе въ тѣсныхъ шелкахъ, съ узкими, строгими и дивно выточенными чертами и голубымъ шелкомъ сиреневыхъ глазъ, и ихъ великочелюстные, накрахмаленные, ослабленные кавалеры, съ подстриженными бѣлесыми баками, или небрежно качающіе долгій, гнуткій станъ, смуглые и бархатноглазые юноши...

Слышу хохотъ острый, визгливый. Онъ страненъ въ нарядности строгой улицы. Никто не хочетъ слышать, и лица равнодушны. Идутъ три дѣвушки, очень молодыя, заняли пол-троттуара въ ширину, за руки держатся и хохочутъ. Черныя, порыжѣлыя платья обвисли на худыхъ, неукутанныхъ ногахъ, шлепаютъ стоптанные башмаки, и дыры на чулкахъ, обнаженныхъ по щиколотку. Черныя, голыя соломенные шляпы грибами надъ бѣлыми лицами съ синими подглазниками, и рыскающій взглядъ жадно разгоряченныхъ глазъ. Идутъ, качаются, худыми руками, сцѣпившимися, костляво дергаются, подерживаясь.

Никто не видитъ. Даже не обходятъ. Близко, вплотную проталкиваются. Да вѣдь ихъ нѣтъ, визгуній, на Оксфордъ-Стритъ...

3.

Два вечера выжилъ, не заходя къ Ральфамъ. Но общая вялость и сосущая тоска не давали ни рабо-

тать, ни думать. Это—какъ навожденіе. Я одержимъ. И не хочу.

Все-же пошелъ вчера, сейчасъ послѣ обѣда. Было это неприлично, потому что въ воскресенье никто ни къ кому, кромѣ совсѣмъ своихъ, не ходитъ.

Зналъ-же я о воскресеньи вчера весь день. Съ утра было ошибся и пошелъ къ Музею. Но тотчасъ стало странно на улицѣ. Тихо, пусто. Вяло передвигались отдѣльные пѣшеходы. Беззвучно пробирались хэнсомы. Лица вытянулись, и сильныя, молчаливыя челюсти плотнѣе и упрямѣе притиснули широкіе зубы. Плотнѣе и безнадежнѣе притворились двери узенькихъ домиковъ, изсѣра-черныхъ, трехэтажныхъ, плотно и однообразно одинъ къ другому, нерасчлененными длинными рядами, прилаженныхъ, съ рѣшетками, отдѣляющими отъ тротуаровъ провалы, чрезъ кои ведутъ входы въ кухонныя подземія, съ однообразными рядочками мѣломъ помазанныхъ каменныхъ ступенекъ.

Здѣсь у каждого джентльмэна свой плотно закрытый отъ улицы домъ, и не войти улицѣ въ отдѣленный домъ, гдѣ все блеститъ чистотою, и часы, и дѣла, и мысли распределены. Но если у васъ нѣтъ своего дома, не стучитесь въ чужой: тамъ, на полый стукъ дверного молотка, вамъ откроетъ и откажетъ, послѣ долгаго и жуткаго ожиданія, строгая прислуга въ бѣломъ чепцѣ, стражъ несокрушимой пристойности и хѣм'а *). Есть и вамъ

*) Home—домъ, домашній очагъ. „Мой домъ—моя крѣпость“ (my house is my castle).

зовущее мѣстечко, ласковое и щедрое: Темза течетъ блѣдными, мутными, льнущими, лижущими, ласковыми струями; и широко, и глубоко ея неисчерпное дно. Кружится голова, и тихо, настойчиво, непобѣдимо проситъ сердце покоя... Кто его разбудилъ, чтобы такъ биться?..

Большія рѣшетчатые ворота Музея были плотно заперты, и просторный дворъ съ его газонами—далекія и пустынные—охватили съ трехъ сторонъ сильныя, черныя іоническія колоннады; и дразнили скульптуры фронтона, и звали, дразня, струйки водоемовъ—тамъ, подъ насупленнымъ кровомъ архитрава, наверху широкихъ ступеней входа.

Понялъ—и повернулъ домой.

Всѣ витрины магазиновъ плотно задвинулись ставнями, и строго смотрѣли окна нижнихъ этажей съ ихъ мозаичными или затушеванными стеклянными ширмами.

Жизнь вся затаилась скупю и раздѣленно. Міръ воплотился всецѣло во времени и пространствѣ...

Дома за раннимъ воскреснымъ обѣдомъ докторъ Нэшъ, захлебываясь и самодовольно ухмыляясь, сообщалъ намъ содержаніе утренней проповѣди его любимаго, моднаго пастора. Онъ масонъ, и вечеромъ собирается въ ложу, но раньше еще съ женою долженъ заглянуть въ Хэмпстэдъ: тамъ докторъ Фрэнкъ будетъ говорить, и это очень полезно—его послушать... И стала бойко сообщать свои впечатлѣнія его моложавая, бездѣтная, ядреная и рѣшительная супруга,—та самая, которая, передъ пріѣз-

домъ въ нашъ бординг-хаусъ, напугала сладимую и грязную миссисъ Бруксъ, потребовавъ себѣ отдѣльную отъ мужа односпальную кровать:

— Въ прошлое воскресенье д-ръ Фрэнкъ до того хорошо говорилъ о братствѣ, что мнѣ трудно было удержаться отъ слезъ. Весь міръ я любила и чувствовала себя такою хорошею христіанкой, что подумала: „счастливый мистеръ Нэшъ имѣетъ такую жену!“ Но, выйдя съ басса на Стрэндъ, вдругъ я увидѣла негра. Все блестяло у него: черная кожа, бѣлые бѣлки и зубы, и красныя выпяченныя губы, и плотные завитки волосъ. И я подумала: нѣтъ, негръ—не мой ближній.

И она хохотала, и кто-то вскорѣ сталъ обвинять кого-то, что подъ столомъ шалаятъ ногами, и миссисъ Нэшъ громко взвизгивала, а послѣ десерта спряталась за дверь, и всѣ ея искали, потомъ выдавливали оттуда. А докторъ Нэшъ кичился:

— Какова моя жена!..

Дождлся вечера и до холоднаго воскреснаго ужина, уже въ сумерки, бѣжалъ по Юстонъ-Роду къ углу Хэмпстэдъ-Рода. Воздухъ сжался первымъ осеннимъ холодкомъ, и стояла плотность различныхъ запаховъ, пыли и дыма, который въ нѣсколькихъ мѣстахъ вырывался смурыми клубами изъ какихъ-то подземныхъ жерлъ посреди мостовой*).

Мимо меня спѣшили воскресные джентльмены

*) Разумѣются, очевидно, отдушины подземной желѣзной дороги.

въ цилиндрахъ, отвлеченнаго отъ міра и страстей [вида]; къ нимъ незамѣтно обращали тихія слова печально-строгія женщины, длинныя, худыя, въ черныхъ кофтахъ и юбкахъ и черныхъ соломенныхъ шляпахъ, безъ румянъ и не прикрашенныя. Въ Англіи не любятъ соусовъ въ кухнѣ, высокихъ словъ въ названіи профессій и украшеній на проституткахъ.

Изрѣдка шли грубые, простоватыя люди, подвыпившіе, разящіе джиномъ и виски, съ краснощеками лицами и длинными, тугими мускулами высокихъ, сильныхъ тѣлъ. Толкались торопливыя дамы, опустивъ глаза, какъ бы не желая видѣть безусловнаго неприличія и буро-чернаго цвѣта широкой улицы, гдѣ даже дома были нежилые, но высокіе, странно крупные, совсѣмъ темные и съ нагло-голыми окнами.

На углу Тоттенгэмъ-Кортъ-Рода и Юстонъ-Рода было такое движеніе хэнсомовъ, кэбовъ и бассовъ, что все мое вниманіе на эти минуты вернулось мнѣ, и я нырнулъ, какъ между двумя валами, въ два встрѣчныхъ потока качливыхъ бассовъ, двигавшихся лѣвою стороною улицы,—впередъ и между ними, подъ мордами прочихъ лошадей,—и оказался по ту сторону уже на тротуарѣ, гдѣ, терпѣливо и снова забывая мѣсто въ головокружительномъ верченіи, мельканіи, стонѣ, гулѣ рѣзкаго треска бичей и острыхъ выкриковъ кондукторовъ на лондонскихъ жесткихъ *л* и *ай*,—[стоялъ и ждалъ]... Все движеніе и весь шумъ странно стали, и шумъ

стихаль въ одно сѣрое мелькающее жужжаніе, и въ странной тишинѣ млѣло сердце чуднымъ ожиданіемъ и тонуло, тонуло, чтобы однимъ біеніемъ остановиться совсѣмъ...

Пропустилъ „Хэмпстэдъ - Хиоъ“! *) Дернулся бѣжать. Смотрѣли. Кто-то хихикнулъ... Проснулся. Стоялъ снова,—потому что бассъ улепетываль, качая задомъ, какъ гиппопотамъ, и зеленый съ красною полосой глазъ прыгалъ свирѣпо, защищая отступление.

Прибрелъ на прежнее мѣсто. Еще длилось томленіе. Но уже—она со мною. Это внезапное ослабленіе во всемъ тѣлѣ, легкость его... И прозрачнѣетъ тяжелая улица, и та церковь на тѣсной неосвѣщенной площадкѣ напротивъ — черный призракъ, острый и зловѣщій въ оградѣ дикаго камня, пронзющій злобно спустившуюся вокругъ нея мглу,—и крики, и раскаты непрерывныхъ громоздкихъ бассовъ, и эти лица, чужія, отъединенныя, и глаза изъ нихъ, какъ бойницы крѣпостей—тѣлѣ непроницаемыхъ... Все пѣнится, и шуршатъ въ ушахъ безчисленные лопающіеся пузырьки.

Уже безъ труда попадаю въ свой бассъ. Прохожу впередъ, не наступая на ноги, усаживаюсь—не на колѣни сосѣдки.

И сейчасъ—толчекъ. Одинъ изъ тѣхъ, которые не снаружи, отъ сдвинувшейся колымаги, но волной крови ударяють по голому сердцу—бѣрегу... Про-

*) Т. с. omnibusъ, идущій въ Хэмпстэдъ-Хиоъ.

тивъ меня сидить дѣвушка. Лицо—какъ тѣло голое, и въ голости, гдѣ всѣ черты стерты, передъ моимъ взглядомъ—сочный рогъ, широкій, какъ вступилище въ пещеру; и мутно-бѣловатые глаза поблескиваютъ влажно, и устанавливается простой, открытый, голый взглядъ на мои глаза, даже безъ наглости, безъ всего,—просто какъ фактъ... И ужасъ провала, засасывающаго провала охватываетъ меня...

Опускаю взглядъ. Засучены рукава бураго гладкаго лифа, заголены крѣпкія руки повыше краснѣющихъ локтей и безъ перехода кончаются толстыми, короткими, совсѣмъ голыми кистями. На одной рукѣ сложена ноша: грубые, рыжаго трико, брюки—новая, только-что сшитая партія, и кажется мнѣ—всѣ они коротки и широки. Вѣрно, рыночная швея. Тамъ, дальше по нашему долгому пути, тянется кварталъ, куда миссисъ Ральфъ ходитъ два раза въ недѣлю отъ своего „общества“—распредѣлять „бѣднымъ“ топливо. „Бѣдные“ будутъ покупать въ свальной лавочкѣ эти короткіе, широкіе брюки.

И снова все—тяжелое и вещественное, и невыносимо сидѣть противъ тѣхъ студенисто-поблескивающихъ изъ провала голаго лица глазъ. И двинуться нѣтъ силъ, а сердце ударяется и падаетъ.

Отвелъ глаза. Къ ней повернувшись всею широкою спиною, сидѣлъ бокомъ на тряскомъ сидѣннѣ высокій господинъ,—какъ и всѣ господа, въ цилиндрѣ,—и объяснялся оживленно невнятнымъ голосомъ, какъ-то жадно засасывая и растягивая на э гласныя,—съ выстрѣлившею прямо вверхъ

тонкимъ, длиннымъ, плоскимъ станомъ барышней съ абсолютно-кукольнымъ, свѣже и ярко выкрашеннымъ личикомъ и удивленными, очень блистающими карими глазами. Ей не терпѣлось отъ радостнаго волненія, а онъ все смаковалъ свои э-э-э, вытягивая какіе-то высчеты, и лицо его походило на довольно злого, кругломордаго, рыжебураго кота. Впрочемъ, онъ былъ предприимчивъ и достойно мужественъ, хотя и грубоватъ. Они вдругъ встали и вышли, и, не сдержавъ радостныхъ надеждъ, которыми сіяли удивленные глаза, дѣвица-кукла, тряхнувъ кудрями, груднымъ звукомъ сдавленно воскликнула:

— О, Дикъ!..

И соскочила.

И словно возможность была дана двинуться и мнѣ. Я тоже соскочилъ и шель теперь, мѣряясь широкими шагами съ развалистымъ подвиганіемъ басса. Отчего я не сѣлъ въ тотъ трамъ, который катится по рельсамъ тоже къ нимъ? Я не подумалъ...

И сталъ думать о Хайасинѣ,—увиджу ли ее? Не напрасенъ ли долгій, несносный путь и вся эта мѣла улицы?..

Она лежала въ качалкѣ, такая вся обозримая и тающая, и утомленно подняла ко мнѣ свѣтящіеся глаза, и притронулась.

Почти не нужно было руки: все уже сдѣлалось... Я здоровался съ другими. Барбара стояла за кресломъ и, какъ люльку, осторожно—пугливымъ звѣрькомъ — раскачивала его. Миссисъ Ральфъ

лежала на своемъ шэзлонгѣ и тихо стонала, совсѣмъ поблѣднѣвшая. У камина Маргаретъ грѣла ноги на рѣшеткѣ. Ея женихъ набрасывалъ съ нея кроки.

И еще тотъ—съ очень большими челюстями, дряблымъ, мучнисто-бѣлымъ лицомъ, залѣзлымъ лбомъ и блуждающими въ смутной грезѣ блѣдно-голубыми глазами...

Я его видѣлъ разъ. Миссисъ Ральфъ сказала, что это женихъ Хайасинѣ; а Барбара сообщила, что онъ „ужасно“ богатъ, но „сновидецъ“ и ничѣмъ не интересуется. Только въ Хайасинѣ влюбленъ „ужасно“, но и тоже совсѣмъ особенно, не какъ другіе люди влюбляются. Онъ глядѣлъ въ огонь, и сны медленно ползли по странно дряблымъ молодымъ чертамъ, то радуя, то печалая, то волнуя, передъ легкими чарами его посланницы.

Бѣшенство готовилось во мнѣ и разразилось: я сталъ ненавидѣть... И, ложась, совершалъ заклинанія.

Ночью видѣлъ ее. Лежалъ, закрывъ глаза, скрестивъ на груди руки, какъ мертвые скрещиваютъ. Она вошла. Вѣяло. Мои вѣки открылись сами, и я видѣлъ двѣ изъ темноты руки, очень тонкія, узкія; прохладою прикоснулись онѣ къ моимъ рукамъ. Потомъ повѣяло надо лбомъ,—какъ легкія крылышки ночной бабочки... Не вправду ли бабочка?.. И прохладные, легкіе пальцы нажали мои вѣки на глаза, какъ мертвымъ нажимаютъ...

Хайасинѣ не отъ жизни. Тѣмъ лучше. Умереть. Это—послѣднее сладострастіе. Легкость послѣдней

тишины. Надо счеты свести. Какіе-то счеты. Какіе-то отчеты... Кто связалъ?.. Довольно.

4.

Вчера вечеромъ случилось то, чего никогда здѣсь не случается: въ мою комнату постучались.

За обѣдомъ Хайасинѣъ не было, и я ушелъ къ себѣ, потому что зайти со всѣми на условные полчаса въ семейную дроинг-румъ не хватило воли въ моемъ обезволенномъ тоскою тѣлѣ.

Сидѣлъ у себя. Писалъ въ своей „Исторіи Состраданія“, къ главѣ объ *эмос'ѣ* грековъ. Конечно, это—не „жалость“... Внезапный стукъ въ мою дверь. Голосъ мой призывный былъ беззвученъ и холоденъ:

— Войдите.

Письмо, газета, брошюра? что-либо чужое и ненужное, отголосокъ только-что покинутого тамъ, позади, въ Россіи, университета?.. Друзей я не имѣлъ... Сергѣй? Онъ съ Еленою. Андрей? Онъ бѣжалъ, и довольно, довольно мнѣ было пить его яду...

Пока дверь отворялась, — кажется, все это мелькнуло. Уже *она* стояла въ моей комнатѣ!.. Обернувшись назадъ, спокойно прикрыла дверь и медленнымъ ритмомъ пляски шла, рѣяла ко мнѣ, блѣдная, тонкая, не настоящая, какъ всегда, и золотилась тонкая сѣтка волосъ вокругъ лица и на плечахъ, и глаза издали, издали еще притронулись, и я... умеръ.

Умеръ—и воскресъ, со всею мукою разлуки, со всею свѣжею радостью, росистою, свиданья новаго!

Нагнулся къ протянутой рукѣ и поцѣловалъ, не коснувшись, не смѣя — своею простой рукой, съ этими мнѣ ненавистными расширяющимися послѣдними суставами пальцевъ... Почувствовалось—какъ по водѣ теченіе, ручеекъ,—этотъ поцѣлуй поникшей въ воздухъ, протянутой, прохладной ея руки.

Ничего въ ней не измѣнилось, только брызнулъ сильнѣе лучомъ золотой свѣтъ карихъ глазъ, и казалось—они улыбнулись.

Она молчала. Мы такъ стояли.

Потомъ я сказалъ глупо, и съ вопросомъ:

— Вы пришли?

Она отвѣчала, подумавъ, голосомъ тихимъ, увѣреннымъ и свѣтлымъ:

— Учитель меня прислалъ къ вамъ.

— Кто онъ?

— Онъ васъ знаетъ.

— Я никого не знаю... кажется.

— Это не нужно.

— Что ему нужно отъ меня?

— Вы ему поручены.

— Что я долженъ дѣлать?

— Любить правду.

— Я ищу.

— Да. Вы сильный. Но вы станете сильнѣе.

— Черезъ васъ.

— Черезъ него.

— Но пришли вы.

— Да, я буду приходить. Ему не нужно.

— Я его люблю.

— Это неизбѣжно.

И она вдругъ измѣнилась. Словно струя протекла по всему ея тѣлу. Она ослабѣла нѣсколько на ногахъ и, протянувъ руку, въ забывчивости ухватилась за мою. Я дрожалъ отъ ея прикосновенія. Ея вѣки прикрыли на половину ея глаза, углы губъ отяжелѣли. Стала она некрасивою, потому что лицо отяжелѣло, но такого сладострастія я никогда не видалъ... Или мнѣ это приснилось?

Она оправилась. Рука моя была свободна. Или никогда она не приняла ея? И не заболѣвала вовсе? А я заболѣлъ, и снова выздоровѣлъ..

Заболѣлъ ревностью, которая и теперь жжетъ, изжигаетъ, и теперь рука ея дрожить и мчитъ такъ неотчетливо по бумагѣ.. Она говорила тихо, и словно во мнѣ каленымъ прутикомъ выводились ея медлительныя отчетливыя слова:

— Въ первый разъ я слышала его и поняла эту любовь, ея неизбѣжность. Его слова ростили мнѣ огненные крылья, и я вся наполнялась огненною любовью, пока не стала отъ легкаго присутствія этого тончайшаго огня такою легкою, что уже совсѣмъ перестала себя чувствовать и видѣла иными глазами себя иною и свѣтлѣйшею. И когда всѣ вышли, которые слушали его, я осталась и видѣла, какъ та я, легчайшая и вся изъ свѣтлаго пламени, подошла къ нему и, приклонившись къ его рукъ, поцѣловала ее. А на рукъ его, блѣдной

и прекрасной, была стигма, какъ отъ гвоздя, какъ у Распятаго...

Она глядѣла на меня теперь всею поверхностью свѣтящихся карихъ глазъ, всею полнотою касающагося взгляда. Я спросилъ еще разъ:

— Кто онъ?

И еще разъ она отказала въ отвѣтѣ.

— Знающій.

— Вы сказали, что онъ проповѣдникъ?

— Онъ учитель.

— Его можно слушать?

— Вамъ этого не нужно.

— Отчего?

— Оттого, что вы слишкомъ многое знаете.

— Я не понимаю.

— Учитель сказалъ, что будетъ писать вамъ, но съ однимъ условіемъ.

— Съ какимъ?

— Чтобы вы уничтожали его письма точасъ по прочтеніи. И никто никогда не узнаетъ. Можете поклясться?

— Клянусь.

— Я скажу.

— Я буду васъ видѣть? Я уже не могу безъ васъ.

— Я буду приходить къ вамъ.

— Отчего вы часто не обѣдаете дома? Я не могу выносить обѣды въ вашей семьѣ безъ васъ,

— Я нигдѣ не обѣдаю.

— Вы голодаете?

— Нѣтъ. Мнѣ не всегда нужна пища.

— Вы не женщина?

— Никто не женщина и не мужчина.

— Почему?

— Духъ мужчины и духъ женщины перемѣстились давно. Вы болѣе женщина, нежели я.

— Передъ вами—да. Я чувствую себя слабѣе и проще ребенка.

— Это не я. Это онъ черезъ меня говоритъ и дѣйствуетъ.

— Въ такомъ случаѣ я его люблю.

— Это неизбѣжно.

И, быстро отвернувшись, двинулась къ двери. Мнѣ казалось, что, уходя, она вещественнѣе касалась моего ковра.

Вышла. Тихо прикрылась дверь. Мнѣ хотѣлось цѣловать слѣды ея узкихъ подошвъ. Одинъ разъ я видѣлъ ея слѣдъ на бѣломъ мѣлѣ, которымъ зачѣмъ-то иногда натираютъ каменные ступени нашего крылечка. Но вчера, нагнувшись, чтобы искать, вдругъ вспомнилъ, что на коврѣ ноги не оставляютъ слѣдовъ, и разсердился на себя...

Бѣжалъ изъ Россіи. Бросилъ Сергѣя. Одиночества искалъ. Милаго и страшнаго подвига одиночества. Здѣсь, въ черномъ городѣ, изъ бураго дыма и черного плюща, живую душу истязалъ въ жалости непомѣрной и ужасѣ безъ исхода,—чтобы до конца дойти, до конца послѣдняго смысла. Ибо здѣсь близокъ конецъ: уже преддверіе конца—это темное чистилище, гдѣ паденіе себя не при-

крываешь, и визгливо хохочешь отчаяніе, и мимо шествуетъ горделивое лицемѣріе сильныхъ и проклятыхъ.

Здѣсь открываются всѣ ходы къ концу.

Кто же онъ, этотъ „учитель“?.. Одинъ изъ *нихъ*?*)

Ему отдамся ли? Или съ нимъ бороться осужденъ въ ночи?

И гдѣ силъ найду, потому что безсиленъ нетерпѣніемъ?..

5.

Сегодня утро не стало свѣтлѣе ночи. Или почти. Только разглядѣлъ, какъ смурый туманъ прилипъ вплотную къ окну, и уже огонь фонаря на тротуарѣ не просвѣчивалъ сквозь грязную гущу. Въ комнатѣ желто горѣла лампа.

Одѣвался,—конечно, думая о ней. Это навожденіе. Она не женщина. Духъ? Надо бы ихъ хорошенько разспросить, какъ она у нихъ явилась. Отчего-же? Я не брежу на яву. Такое бываетъ странное въ жизни, что въ книгахъ казалось бы выдуманной романтикой. Жизнь романтичнѣе искусства. Только глядѣть нужно до конца и сквозь.

Вотъ и этотъ туманъ. Онъ невозможенъ. Онъ для того, чтобы держать души. Моя здѣсь держится. Туманъ — мои стѣны. Онъ мой тюремщикъ, т. е.

*) Подъ „*ними*“ въ этомъ и слѣдующемъ отрывкѣ Опалинъ разумѣетъ мудрецовъ Индіи. Индія влечетъ его; туда предпринимаетъ онъ путешествіе.

Хайасинѣ. Мнѣ пріятно писать это цвѣточное имя сегодня, въ это несбывшееся утро...

Продолжаю вечеромъ. Предъидущее записывалъ передъ тѣмъ, какъ выйти; можетъ быть, только и началъ для тѣхъ послѣднихъ словъ. На улицѣ, спустившись почти ощупью съ крылечка, остановился. Билось сердце. Было почти ужасно. Что-то непро- ницаемое, плотное и всеобъемлющее висѣло всюду, бурое, холодное, липкое, почти вязкое, потому что, казалось, вязнетъ въ немъ все тѣло и душа обвита. Нелѣпо хотѣлъ вдругъ броситься и бѣжать. Пока не кончится. Но оно стлалось бы вмѣстѣ. Застоналъ. Кто-то невидимый, совсѣмъ рядомъ, сказалъ:

— Въ третій разъ я снова у этой проклятой аптеки.

Нашъ домъ на углу аптеки, — т. е. аптека, почему то выдающаяся немного дальше на тротуаръ, своею пристройкой дѣлаетъ тамъ какъ бы уголъ, а за нею уже настоящій уголъ, съ Юстонъ - Родомъ. Ужасное мѣсто!.. Затѣмъ меня кто-то обнялъ.

— Господинъ, угостите меня виски.

Я обернулся по направленію своего уха. Подъ ободкомъ круглой, клеенчатой, черной шляпки испитое, узкое женское лицо, и насыпано изъ тумана на немъ по бѣлизнѣ сажей. Глаза пугливые, каріе. Все это молодое и прозябшее. Я стряхнулъ съ плеча ея руку. И побѣжалъ. Тотчасъ наткнулся.

— Проклятіе тебѣ, ты дуракъ!

Выговоръ замѣтилъ: лондонскаго рабочаго.

И тяжелая рука ударила меня по шеѣ съ такой

силой, что я отлетѣлъ въ сторону, сорвался съ тротуара и, протянувъ судорожно руки, охватилъ фонарь. Надъ собою понялъ пятно свѣта, хотя онъ не лучился, а тамъ, безъ распространенія, плотно слипся. Только пачкалъ собою ровную, грязную стѣну.

Покорно шелъ уже. Очень медленно, и часто протягивая руки, извиняясь и благодаря встрѣчныхъ слѣпцовъ. Такъ какъ собрался весь въ одинъ комокъ вниманія, то не ошибся ни улицей до первой площади послѣ нашей, ни слѣдующей улицей, ни третьей площадью. Все узнавалъ, нащупывая выступы и завороты вдоль стѣнъ. И послѣ послѣдней площади прошелъ до заворота направо, отсчитавъ свои много разъ считанные для гаданія шестьдесятъ шаговъ (гадаю, возвращаясь изъ ридинг-рума *), о томъ, будетъ-ли Хайасинѣъ за обѣдомъ), и повернулъ, и нащупалъ рѣшетку и входъ въ нее. Шелъ мощенымъ дворомъ, предварительно разсчитавъ, чтобы спина была совсѣмъ напротивъ рѣшетки, и такъ добрелъ до первой ступени. Каждая слѣдующая все-таки выступала. Даже намѣчалась третья. Здѣсь у Музея было почище, но еще безнадежнѣе, потому что не разрѣзанный домами туманъ оказывалъ себя безконечнымъ и вездѣсущимъ.

Тѣмъ радостнѣе сознавалась побѣда. Уже въ большой вестибюль его не впустили, и я могъ видѣть лица, и колонны, и дальше—двери въ залъ чтенія:

*) Читальная зала въ библіотекѣ Британскаго Музея.

„Комнату чтенія“, какъ они называютъ, не любя громкости словъ, свое круглое чудо, окружность вѣвременнога міра духовъ. Тамъ соединилось настоящимъ и дѣйственнымъ все, что было и есть на землѣ духа живого; и все, что будетъ,—придетъ.

За моимъ отгороженнымъ столомъ, на своемъ подвижномъ глубокомъ креслѣ мнѣ стало такъ вѣрно, какъ и всегда, и я взглянулъ на потолокъ, который, возносясь куполомъ, упиралъ свои витрины въ грязный туманъ, какъ въ прихлопнувшій землю вещественный косный покровъ.

Снова былъ у *нихъ**). И тамъ, гдѣ былъ, вѣяла она, Хайасинѣ. И ничуть не менѣе реально, нежели дома, въ тѣ мгновенія, когда клала мягкую прохладную руку въ мою и прикасалась глазами, съ тѣмъ свѣтлымъ, золотистымъ, полнымъ взглядомъ..

Если бы была полнота, не было бы страданія. Все, что страдаетъ, отъ неполноты страдаетъ. Это послѣднее раскрытіе страданія...

Horror decrescendi — не horror vacui — законъ человѣческаго духа. Поэтому человѣчеству открыто всего два пути. Или волишь Преображенія въ Полнотѣ или угашать свои вожделѣющія надежды. Первое — Слово. Второе — Молчаніе. Но абсолютное Всезвучіе и абсолютная Тишина сливаются. Не такъ ли и полнота съ пустотою едино?..

И всетаки я не могу принять *ихъ* отказа. Мнѣ любъ былъ одинъ задавленный кротикъ. На одинъ

*) Углублялся въ изученіе умозрительныхъ системъ Индіи.

дѣтскій мигъ полюбился, пока садовникъ замахивался, чтобъ не рылъ корней. Мнѣ любви были синіе глаза матери, въ которые глядѣлся, о кротѣ плача, гдѣ свѣтъ кончалъ и начиналъ, которые закрылись навсегда, не изживши жизни. Этого не хочу угасить, но воскресить долженъ.

Но не вѣчна моя память, и любовь моя—по своему несовершенству — жалость. Я-же хочу вѣчнаго и нежалѣющаго.

Также помню блѣдноалыя гвоздички на сухомъ лугу позднею осенью, когда ужъ цвѣты отцвѣли и утренники лиловымъ инеемъ на янтарномъ разсвѣтѣ остужали травку. Я хочу, чтобы вѣчно жили мои алыя гвоздички...

Сегодня ничего не выходило въ ридинг-румъ. Ссорился съ *ними* отчаянно. Кажется, каждою кровинкою перелился въ своего кротика, розовыми лапками рылся въ землю, просился къ родимой, слышалъ прѣль хвойную подъ елью, подъ низкой приземной вѣтвію, разлапой. А лопаты надъ собой не чуялъ... Родная мать, Земля милая, пахучая, пусти, пусти, но не въ смерть!..

Я бѣ хотѣлъ забыться и заснуть, —
Но не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы:
Я бѣ хотѣлъ навѣки такъ заснуть,
Чтобъ въ груди дрожали жизни силы,
Чтобъ, дыша, вздымалась тихо грудь,
Чтобъ всю ночь, весь день, мой слухъ лелѣя,
Про любовь мнѣ сладкій голосъ пѣлъ,
Надо мной чтобъ вѣчно зеленѣя
Темный дубъ склонялся и шумѣлъ...

А теперь, пока пишу, снова эта ревность, которая тогда родилась, когда у нея вѣки и губы стали тяжелыми и полузакрытыми...

Я же не хочу ревности. Это такъ суетливо...

*Здѣсь лондонскій дневникъ философа прерывается
Въ его позднѣйшихъ, флорентійскихъ, записяхъ нахо-
димъ два мѣста, изъ коихъ одно, очевидно, относится
къ встрѣчѣ съ Хайасинѣю, второе прямо ее называетъ:*

1.

Потомъ узналъ одну женщину. Черезъ нее пилъ ядовитую истому тончайшаго сладострастія. Но она не отдалась мнѣ. И вотъ, къ тридцати годамъ я остался такимъ, какимъ былъ (въ отрочествѣ) въ годъ смерти матери, и, какъ тогда, все зналъ и всѣмъ изнылъ — и отъ страсти не зачерпнулъ. Дико, да?..

2.

Потомъ я почувствовалъ паутинныя тѣни на своемъ лбу; онѣ проползли, щекотя нервы, — отъ перистыхъ листьевъ акацій. Легкая дрожь пробѣжала по стѣнѣ. Вспомнилась Хайасинѣю. И я остановился.

Отъ внезапности остановки я сначала услышалъ въ себѣ гулъ своей смуты — и тотчасъ разсердился. Такъ нельзя ни работать, ни наблюдать. Стало тихо вдругъ. Все, что во мнѣ теперь неурядица и позоръ, произошло оттого, что, не закончивъ своихъ

изслѣдованій по Исторіи Состраданія, я вышелъ изъ-подъ дисциплины чистой мысли, и бунтъ отразился на мнѣ двояко: на моемъ сознаніи и на моихъ поступкахъ.

Первое стало измѣнять себѣ ради чего-то — не себя, но своего же, только по ту его сторону. Это — то, что разрушаетъ всякое строеніе, законами познанія построенное. Но это пока. Если очень затихнуть въ созерцаніи, не познается ли и это мое, что не есть сознаніе?

Здѣсь-то и явился бунтъ моихъ поступковъ, чтобы все смѣшать и удалить бѣлую тишину, желанную...

...Хайасинѣ! Перистое щекотаніе по мозгу только тѣней отъ листьевъ толкнуло во мнѣ ту сладострастную память. Она прошла мимо рано. Довольно во время, чтобы сказать мнѣ ускользящею тѣнью: „Довольно. Откажись!“ И отказался я, но...

П А С Х А.

ЭПИЛОГЪ.

Земля моя, Земля моя, — Земля родимая, меня взростившая, — Земля-могила, еще не сытая! Къ чему, Мать, дала ты мнѣ ясные глаза — видѣть великолѣпіе, ужасъ и красоту твою? И сердце къ чему мое изъ твоей темной глыбы проснулось и забилося — тебя проклинать, смертью ненасытимая, и за тебя молиться Небу, бѣдная, тоскующая глухими раскатами твоихъ громовъ?

Богиня-Мать! Сколько кубковъ недопитыхъ лучшаго вина, сильнаго, святаго, опрокинула Судьба къ твоимъ ногамъ! Ту жертвенную кровь ты выпила, Мать, какъ ключи пьетъ песокъ пустынь — безвозвратно, безнадежно, — дѣтей твоихъ кровь, изъ тебя рожденныхъ, тобою не оплаканныхъ: ты родишь другихъ, еще и еще, безъ скупости и безъ разбора...

Чтобы бились сердца, разгоняя круговоротомъ алую кровь, — какъ въ нѣдрахъ твоихъ по жиламъ вращается вода живыхъ твоихъ ключей!.. Чтобы вспыхнули взоры и приняли міръ твой, его хаосъ и его строй, — какъ въ солнцѣ твоємъ загораются зрячіе, жаркіе лучи ласкать тебя, злую и добрую, для вѣчной твоей жизни и вѣчной твоей смерти!..



Земля, любить тебя моя душа темная, тихая полная, покорная, твоя — моя душа, душа земная всего живущаго. Но духъ мой сказалъ тебѣ: Нѣтъ!..

Слышишь, Мать, святое слово, мнѣ одному данное, мнѣ — человѣку? Потому что не твой только человѣкъ. Если бы твоимъ былъ весь, — весь говорилъ бы темное, тихое, полное Да...

Случилось: Онъ пророчилъ: „умру, и погребутъ, и въ третій день воскресну“. Случилось: Онъ воскресъ. Онъ, благословившій лиліи твои, Земля-Мать, воскресъ. Изъ „Нѣтъ“ божественнаго—воскресеніе Его.

И прозвучали тѣ слова впервые о Воскресеніи, родили божественно новое согласіе, и съ той поры, Земля моя, впервые поставилъ духъ, не твой, — свое утвержденіе.

И утверждаетъ духъ божественный, изъ твоихъ очей, Мать, сверкающій, въ твоихъ сердцахъ, Земля, болью и восторгомъ быющійся, — вѣчность мгновенныхъ порывовъ своихъ и твое Преображеніе.



СОДЕРЖАНІЕ:

	СТР.
Предисловіе (Вячеслава Иванова)	5

Н Ы Т Ъ!

Помогите вы! (Бредъ краснымъ карандашемъ)	11
За рѣшетку	23
Кошка. (Отрывокъ изъ письма о неблагополучіи міро- зданія)	37
Электричество	45
Голова Медузы	53
Лондонъ. (Изъ бумагъ молодого Опалина)	75
Пасха. (Эпилоть)	105

Книги Л. Д. Зиновьевой-Аннибалъ.

„Кольца“ Кн-во „Скорпионъ“ Москва 1904 г. (*Распродано*).

„Трагическій Звѣринецъ“ Кн-во „Оры“ СПб. 1907 г. (*Распродано*).

„Тридцать три Урода“ Кн-во „Оры“ СПб. 1907 г. (*Распродано*).

„Тѣни Сна“ (*Распродано*).



Книгоиздательство
„АЛКОНОСТЬ“.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ

„Соловьиный садъ“ (*Распродано*).

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ

„Младенчество“.

Л. Д. ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛЬ

„Нѣтъ!“ Разказы. Посмертное издание подь редакціей Вячеслава Иванова.

АНДРЕЙ БѢЛЫЙ

„На перевалѣ“

1. Кризисъ жизни.
2. Кризисъ мысли (*Печатлется*).
3. Кризисъ культуры (*Готовится*).
4. Кризисъ слова (*Готовится*).

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ

„Двѣнадцать“ съ рис. Ю. Анненкова (*Печатается*).

„Молніи искусства“ (Итальянскія впечатлѣнія) (*Готовится*).

АЛЕКСѢЙ КИРИЛЛОВЪ

„Записки Всеволода Николаевича“. (*Печатается*).

Книгоиздательство „Алконостъ“.

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ

„Прометей“ Трагедія (*Печатается*).

Л. Д. ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛЪ.

„Лирическое въ прозѣ и стихахъ“ (*Готовится*).

„Пѣвучій осель“ (*Печатается*).

АНДРЕЙ БѢЛЫЙ

„Христось Воскресъ“. Поэма. (*Печатается*).

Путевыя замѣтки:

1. Сицилія. (*Готовится*).

2. Тунисія. (*Готовится*).

3. Радесъ. (*Готовится*).

4. Мусульманство и культура Тунисіи.
(*Готовится*).

5. Египетъ. (*Готовится*).

АЛЕКСѢЙ РЕМИЗОВЪ

„Цѣпь золотая“. Повѣсти. (*Печатается*).

„Кавказскій чурекъ“. Сказки. Большимъ и
для малыхъ ребятъ. (*Печатается*).

„Сибирскій пряникъ“. Сказки. Большимъ и
для малыхъ ребятъ. (*Печатается*).

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ

„Кателина“ Исторія міровой революціи. (*Готовится*).

„Россія и Интеллигенція“. Статьи 1907—1918.
(*Готовится*).